PG3227.5
.P67
1927

# ПОРОСЛЬ

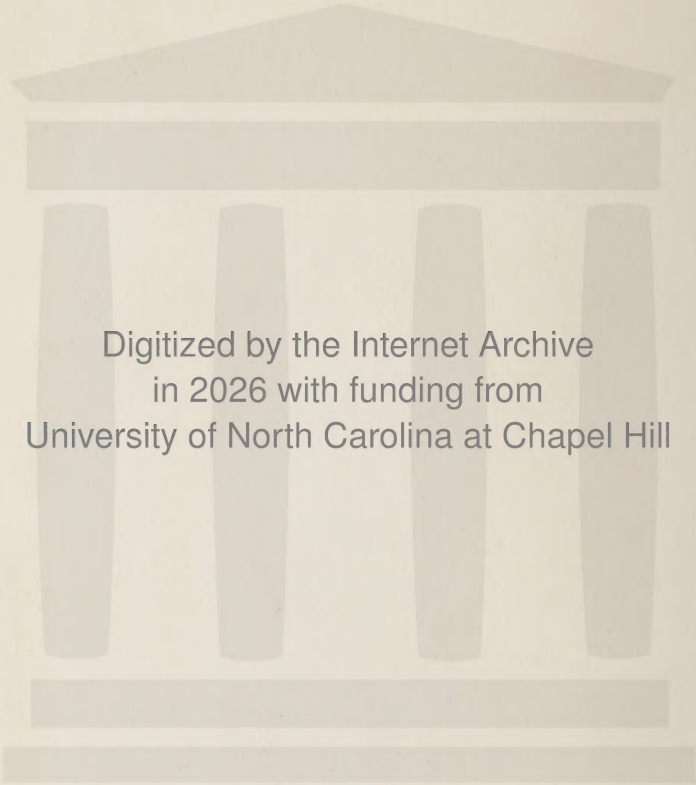
Литературно-художественный
сборник

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3227.5
.P67
1927

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00007552533


Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/poroslliteraturn00unse

ГОРСТЬ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
СБОРНИК
С ПРЕДИСЛОВИЕМ
АЛЕКСАНДРА
ЯКОВЛЕВА
1921
РАБОТНИК
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Обложка отпечатана в тип. «Гудок», ул. Станкевича, 7.

Главлит № 94558. Тираж 1.000.

В. С. КОЛЕНКО

PG3227.5
.P67
1927

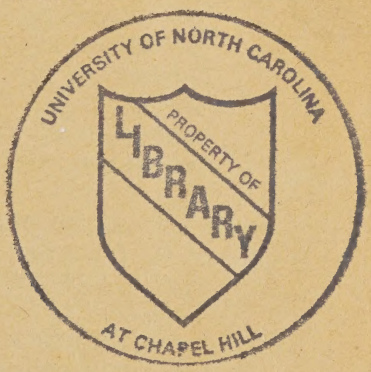
# ПОРОСЛЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИК

с предисловием

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА

POROSL'




«РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ»
МОСКВА—1927

Типография Кооператива
„Наука и Просвещение"
Москва, Остоженка,
Савельевский п., 13.
Главлит № 94.558.
Тираж 8.000.

## ПРЕДИСЛОВИЕ.

Этот сборник—первая попытка дать возможность рядовому работнику просвещения, в частности народному учителю, испробовать свои силы в области литературно-художественного творчества.

Самой профессией народный учитель поставлен в такие условия, что перед ним открыто широчайшее поле наблюдений. Он видит самые глубины жизни. Он знает тайны, которые спрятаны под семью замками. Он наблюдает непосредственно всю перестройку жизни, что происходит сейчас. И не только наблюдает, он участвует сам в ней, испытывает все тяжести и неудобства разрушения старого уклада и все радости по созиданию нового.

Вот почему дорого его каждое слово, особенно такое, что идет от сердца... А настоящий рассказ и настоящее стихотворение складывается только из самых искренних слов, потому что искренность—первооснова художественного творчества.

После революции в русскую литературу пришло несколько народных учителей—самых чутких наблюдателей народной жизни,

и они сразу заняли первые места среди современных писателей.

Народными учителями были: Неверов, Сейфуллина, Гладков, Завадовский. Одно время народным учителем был Пришвин—художник большой, как море.

Ни одна профессия не дала такого большого количества хороших писателей, как профессия народного учителя.

И, конечно, надо крепко надеяться, что и в будущем этот живой источник не иссякнет. Может быть, уже сейчас в каком-то селе, или деревне, или захудалом городишке необ'ятного СССР правит чумазые тетрадки школьников будущий Глеб Успенский. Завтра он придет в литературу—искренний, волнующий, со словами вескими, как золото...

Что сказать об авторах, представленных в этом сборнике? В каждом из них есть зернышко талантливости. Это несомненно. А даст ли зернышко росток—покажет будущее.

*Александр Яковлев.*

П. Глаголев.

## СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ.

У нас зимняя страда. Начинается осенью, кончается весной, когда ребята сажают картофель. Тогда в школе наступает тишина.

С весной я отправляюсь бродяжничать. У меня есть маленькая цель. Есть конец путешествия. Но мне не хочется о них думать. Я люблю, когда идешь и не знаешь зачем. Навстречу лес, поле, болото. И снова—поле, лес, болото. Иногда попадется деревня. Пройдешь и увидишь пути-проселки. Прямо, налево, направо. И куда ни иди—опять придешь в серую, соломенную деревеньку. Стоит эта деревенька где-нибудь вверху над оврагом. А внизу, под горой колодезь. И целыми днями скрипит там высокий певучий журавель.

Нынешняя весна особенно хороша.

Я иду, ни о чем не думая. Мягко дышится теплым июньским воздухом. Луга в эту пору бывают самые нарядные. На полях рожь поднимается до колен. Яровые хлеба торчат веселой, зеленой щеткой. И солнце, солнце.

Мужики возят навоз. Скрипят колымаги-навозницы. Обозом выходят они из деревни и расползаются по полю в разные стороны. На дворах бабы, с подоткнутыми юбками, мужики, парни поднимают вилами сочный, хлюпающий навоз.

Я прохожу по деревне. Среди улицы лежат около своих шаек пестрые телята. Перед избами ребятишки играют с собаками.

— Дядя, ты откуда?—вдруг прозвучал детский голосок.

Я смотрю в сторону. Маленькая босая девочка сидит на земле и баюкает на руках тряпичную куклу. Рядом с ней на солнце лежат куры. Я не знаю, что сказать ей, и говорю, что пришло в голову.

— Здравствуй, девочка. Как тебя зовут?

— Таня.

И она засмеялась.

— А у меня кукла есть.

Тут я вспоминаю, как в прошлом году одна девочка из первой группы пришла ко мне на урок с куклой.

И мне становится весело.

Я подсаживаюсь к Тане, смотрю на нее и на кур. Она держит голубой цветок и хочет прикрепить его на серую кофточку куклы. Цветок спадает.

— У тебя красивая кукла.

— Да.

— Ты сама сделала куклу?

— Нет, мне ее подарила Шура.

— Это твоя сестра?

Таня отрицательно качает головой. Потом смотрит на меня и смеется.

— А вчера за сараем одуванки зацвели.

— Они веселые, Таня, правда?

— Да. Я знаю сказку про них.

— Какую?

— Была девочка Настя. Она была маленькая, а глаза у ней были голубые. Настя любила маму. А еще она любила белого теленка. Она называла его Бишкой. Бишка был очень глупый и добрый. У него были мягкие уши. Настя ходила к нему, где он был привязан. Он ел траву, а она смотрела. Когда Бишка спал, Настя ложилась рядом с ним и клала на него свою голову. Один раз расцвели одуванки. Настя много-много нарвала одуванок и понесла к Бишке. Она думала, он будет есть. Одуванки свернули на-бок свои головки. Им было скучно оттого, что их сорвали. А Бишка понюхал их и не тронул. Тут мама сказала Насте, что одуванки горькие.

— Хорошая сказка. Кто тебе ее рассказал?

— Мама.

— Твоя мама умная.

— Да. Дядя Ваня то же говорит—она умная.

— Как ее зовут?

— Мама.

— Это ты ее так зовешь?

— Да.

— А дядя Ваня?

— Дядя Ваня—Александра Константиновна.

— Это твой дом, Таня?

— Нет, это дядин Ванин.

— А где ты живешь?

— У дяди Вани. Мы с мамой у него картошки сажали.

С минуту мы оба помолчали.

— Таня!

— А?—и вскидывает головку.

— Вы всегда тут жили?

— Нет, мы жили там,—она кивнула в сторону головой.—И папа там жил с нами. Мама говорит,—папа болел от холода.

— Это там ваш дом был?

— Нет, ребячий. Там ребята ходили к моей маме.

— Зачем, Таня?

— Они читали книжки.

— А теперь они не ходят к маме?

— Нет. Зимой мама ходила к ним. А мне вбыло скучно. Дядя Ваня играл со мной

прятки. Только он не умеет. А папа умел У тебя есть папа?

— Нет, мой папа умер.

— И мой умер. Мама говорит--мы уйдем скоро опять к ребятам.

— От дяди Вани?

— Да.

В это время со двора вышел огромный чернобородый крестьянин с вилами в руках и прошел, не замечая нас, к огороду.

— Это дядя Ваня?

— Да.

— А где мама?

— Она стирает белье.

Потом мы опять молчим.

— А тебя как зовут?

— Дядя Петя.

— У тебя есть кукла?

— Нет.

— Почему?

— Ведь у дяди Вани тоже нет куклы?

— Да.

— И у мамы?

— И у мамы.

Мне не о чем больше спрашивать Таню.

Мне все ясно. Только зачем я это сделал? Ведь это все личное. Ведь это их, а не мое. Они мне могут сказать так.

Вдруг Таня вскочила.

— Дядя Петя!

— Что?

— Побежим к маме.

— Нет, Таня, мне нужно итти.

— А куда ты идешь?

— Не знаю.

— Я тоже не знаю.

Улыбаясь, я говорю ей:

— Прощай.

И ухожу. Конечно, мне надо итти. Мне только жаль Таню, и я думаю, что она еще не знает о себе столько, сколько теперь я узнал о ней. И мне показалось, что хорошо, что нет.

Деревня скоро кончилась.

Жаворонки-невидимки ручьями льют свои песни с синего неба. В стороне от дороги летают пестрые бабочки, играя на солнце крылышками. Со мной рядом пожилой крестьянин едет в поле с навозом. На нем красная платаная рубаха. И лицо у него мягкое и доброе. Увидя меня, он кланяется.

Я говорю:

— Здравствуйте.

И вспоминаю, что во многих местах у крестьян принято кланяться при встрече даже с теми, которых они совсем не знают. И

мне это не кажется странным. Нет, мне даже это понравилось, и я даю себе слово вперед кланяться самому.

Мерно шагает чалый конь. Тихо на ходу поскрипывает колымага. Беседуем.

— Как сказать, — отвечает на мой вопрос крестьянин, — живем — своего не метаем, чужого не хватаем. Известная наша жизнь. Трудимся.

Я рассказываю ему о своем разговоре с Таней.

Он улыбается и говорит:

— Знаю, знаю... как же, Таня. Да. Смышленая девчонка. Замысловатая. Только жалко. Вчуже жалко. Потому, какая ж ее теперь жизнь? Сам посуди. С таких лет и в нужде постоянной. Нынче того нет, завтра другого нехватает. Когда отец был жив, терпимо было. Мужчина, как ни как. Молодой был покойник. Александра Константиновна и горя не видала с ним. Кругом на два жалованья жили. Понятно, жалование ихнее не мудреное. Да и притом все же покупное. Вода только даром приходится. Ну, мы, однако, ничего... Мы хорошо живем с Александрой Константиновной. Это уж никогда не бросим. Чем богаты, тем и рады,—подмогнем, сколи можем. Работящая она у нас, умная. Вот как помер муж

у ней, собрались мы на собранье. Ну, и обсудили. Не помирать же ей. Квартиренка паршивая. Сколько бревен, столь и щелей. Дует как ни попало. Мы ей в ту же пору обществом сняли новую избу у Ивана Черного. Живи, пока зима пройдет. Что ж делать? Наша, ведь, она. Небось, не чужая. А на-днях, значит, порешили мы ей квартиру обремонтировать. Пусть поживет, как и люди. Были у нас общественные деньги, от быка оставались. Ну, и употребили.

Немного помолчав, он продолжает:

— Оно бы все ничего. А только вот две сестренки у ней в городе учатся. А денег-то кот наплакал. Ни отца, ни матери. Ну, и отдувайся, Александра Константиновна. Той чулки, той башмаки. Разориться можно. И к себе их взять, чего им тут делать? По ихнему полозу надо им обучение дать. Конечно, может, как и обойдется дело-то... Надысь, сказывал Иван Маленький, будто способие ей выдали. Свои же, говорит, учителя охлопотали...

Скоро мы расходимся. Колымага сворачивает на пашню. А я иду дальше по пыльной дороге, теряющейся в синей дали.

К вечеру, вместе с пастухами и стадами, я вхожу в другую деревню. Нас дружно встречают собаки и ребята. Бабы вышли с

ведрами и ломтями хлеба, чтобы подоить коров.

В крайней избушке мне разрешили ночевать.

Я улегся на соломе под навесом сарая и через щели в стенах вижу, как солнце падает вниз. Слышно, ребята проехали в ночное. Потом все стихло.

Я засыпаю и вижу сон.

Мне снится—деревня и яркое теплое солнце. По светлым полям, как черные жуки, ползут колымаги с навозом. На деревне играют дети. И среди них девочка Таня. Ее мать—молодая, с голубыми глазами—несет на плече корзину белья к речке. И рады дети, и кричат ей: здравствуйте. А встречные крестьяне снимают перед ней картузы и по-детски улыбаются. И как будто думают они в это время просто и хорошо. Будто благодарят ее за то, что встретились. Потом закружились разноцветные бабочки и смотрят, летая, как Настя несет белому теленку горькие одуванки...

Г. Кашира.

П. Сапухин.

## ИЗ ДНЕВНИКА.

В окно глядит луна-старуха,
И маятник стучит так четко.
Сегодня врач сказал мне сухо:
«Ну, что ж, мой друг.—У вас чахотка».

От слов его не стало больно.
Я закурил лишь папироску...
И в волнах дыма мне невольно
Твоя пригрезилась прическа.

В беседке ветхой из сирени
Сидели мы. Звезда скатилась.
Ты опустилась на колени
И мне в любви своей открылась.

На мир смотрели мы задорно,
А жизнь казалась нам без краю.
Но челн мне подали проворный—
И я покорно отплываю.

Ты с гавани на парус белый
Платочком маленьким помашешь.
И сыну нашему несмело
Ты об отце его расскажешь...

С. Большая Писаревка,
Харьковского окр.

Семен Фомин.

# ПЕТЬКА ИЗ СОДОМОВСКОГО ТУПИКА.

## I.

После первой весенней грозы утро было радостное. Солнце, голубое небо и свежая пахучая зелень тополей и берез манила из города. Под застрехами и на деревьях чирикали воробьи. За косогором, в городском саду, взлетая вели перекличку грачи. А Петька немой, выйдя из Содомовского тупика, провожал, по обыкновению, своего отца.

Отец Петьки—тряпичник Мартын—шел сутулясь и нагибаясь вперед, держа перекинутый через плечо огромный куль для собирания всякого добра, какое может попасться на помойках. Мартын не шел, а как бы двигался на коньках, потому что всю жизнь работал и таскал на своих плечах грузы, как ломовая лошадь, и только под старость, когда изменили силы, заделался тряпичником. Он хмурил седые торчащие брови и казался строгим и сердитым, между тем, был одним из самых добрых обитателей Содомовского тупика.

Дойдя до шумной улицы, Петька выслушал, как всегда, наставление отца и, мотнув головой, повернул назад.

У Петьки был хороший, чуткий слух, а произносил он вместо слов одни только глухие, отрывочные звуки, похожие на рычание звереныша.

Петька одернул свою короткую без пояса синюю рубашку, вз'ерошил рыжие вихры и задумался:

«Хорошо бы убежать на реку ловить рыбу, да хватится «она»—воды натаскать надо».

«Она»—это была Петькина мачеха, вторая жена Мартына.

Почесал Петька затылок, побаландался босой ногой в радужной от нефти канаве и, привскакивая как жеребенок, побежал домой.

Сквозь зелень тополей, по невысохшему еще от дождя песку и булыжнику, брызгало крапинками солнце, и Петьку забавляло, когда он наступал на эти крапинки босыми, истрескавшимися ногами.

Вернулся домой.

В тесной кухне Аксинья чистила картошку и разговаривала с соседкой по квартире Анной Поликарповной, бывшей поварихой, ходившей по свадьбам и похоронам. Жарко, в развал, топилась печь.

— М-гы-ы-ы...—указал Петька на стоявшую у двери кадушку.

— Ну, замычал, охмыла! И спрашивать нечего. Вода нужна.

Петька загремел ведрами и остановился.

— Иди, иди. Нечего подслушивать,—заворчала сердито Аксинья.—Подслушает, потом и начнет вымыкивать—жаловаться отцу.

Вышел Петька, а как раз речь шла о нем.

— Про тебя ходит слушок, Аксинья,—продолжала Анна Поликарповна,—будто, после смерти первой-то жены Мартына, мальченка-то ты напугала. С перепугу будто он языка лишился...

— Кто его напугал! Он сам кого хочешь напугает...

Соседки помолчали.

— Маета с ним,—с досадой вздохнула Аксинья.

— Это еще что: подожди, дальше-то еще не то будет... Научила бы ты своего Мартына—в приют определить. Правда, он тебе и дровец понасоберет, и воды понатаскает, а все убогий человек. Лучше взамест него взяла бы советского шпитомка—приемыша: и окопировочку бы выдали, и способие двадцать пять рублей в месяц охватывать бы стала.

— Попробуй, уломай такого упрямца: не надышится на свое сокровище. Души не чает!

## II.

Натаскав воды, Петька подмел небольшой двор. Делал он это всегда по своей охоте, и жители старого двухэтажного деревянного дома, обходившиеся без дворника, считали как бы Петькиной обязанностью мести и прибирать двор.

Ребята Содомовского тупика еще в школе, и Петьке одному тоска.

Над воротами болтается хвойная гирлянда, которую Петька подвешивал с ребятами к первомайскому празднику. „Сорвать ее или поправить?“—раздумывает Петька, большой любитель уличных демонстраций и музыки, и соображает, когда будет опять такое веселье.

Забегает на соседний двор к старушке Бондихе, живущей в крохотной комнатушке.

— Ах, золотой мой! Принеси, принеси ведерку,—выглядывая из двери, встречает Бондиха Петьку.—На-ка тебе, уж больно ты ласковый парнишка,—сует в руку Петьке медяк.

Петька, погромыхивая ведром, сломя голову бежит на бассейн. Идя обратно с водой, он видит возвращающихся из школы ребят.

— Г-ы-ы-ы-ы,—кажет он им монету, полученную от Бондихи.

— Немного погодя приходи на тычок, играть будем!—кричат ему ребята.

Петька в знак согласия мотает рыжей головой.

Через полчаса вся ребятня Содомовского тупика уже ватажится около харчевни. И Петька тут.

Здесь останавливаются извозчики; сюда заходят обедать мастеровые. На лавочках с грудными детьми сидят досужие хозяйки. Тилилинькает гармоника. Весело тут.

Ребята горстями рассыпают купленные на Петькин пятак подсолнухи, и Петька доволен, что смог угостить всех. Он чувствует, что ему больше всех улыбается солнце, и щурясь, на взлетающих белых голубей, выпущенных кем-то из голубятни, имеет не менее радостное желание лететь в высь за уплывающими над пожарной каланчой облаками.

Но вот минутный восторг прошел.

Тихий, ласковый и услужливый Петька превращается в злостное оружие непоседливой и дотошной до всякой шалости ребятни. Его заставляют бегать, влезать на забор и деревья, садиться верхом на дремлющего около харчевни козла, гоняться за девочками и

стегать их сорванной крапивой по голым икрам и коленкам.

В охоте за воробьями кто-то разбил окно пущенным из рогатки камушком.

— Кто это?—закричала выбежавшая из квартиры хозяйка.

Ребята—врассыпную.

Из-за угла выкликнули:

— Петька немой...

— Ах, озорник этакий! И что это держут такого фулюгана? —бежит жаловаться на Петьку пострадавшая женщина.

Из ворот вместе с жалобщицей выходит раз'яренная Аксинья.

— Что ж я могу с ним поделать? Не посылала же я его бить стекла. Не мое родное дитятко. Расправьтесь с ним как хотите, хоть убейте его, только меня оставьте в покое. Измучилась я с ним.

Притихшие ребята ухмыляются на обманутых женщин:

— Пожаловалась. Ведь не Петька стекло разбил... Тетка Аксинья, это не Петька! Не Петька!

Женщины, ворча и пожимая плечами, расходятся по домам.

## III.

На тычке Содомовского тупика, против харчевни, стоит высокая, на двух колесах тележка. Дед Максим, торгующий студнем и горячей колбасой, закурить ушел.

Ребята кивают Петьке:

— Отвези, спрячь!

Петька впрягся в тележку и отвез ее за ворота.

Ребята хохочут. А он отошел в сторонку, лег животом на землю и поглядывает на плывущие облака, как будто и знать ничего не знает.

Под'ехали ломовые. Ищут—окликают деда, торопятся студеньку закусить. Ни деда, ни тележки.

Под хохот ребят выходит с трубкою в зубах дед Максим из харчевни.

— Чего зеваешь? Студня давай!

Повертелся старик, посмотрел на ребят и притихшего Петьку и крикнул.

— Кто спрятал? Эй, смотри, рыжий! Голову оторву!

— М-гы-ы-ы!—указал Петька на ворота и поскакал с ребятами вглубь тупика, к высокому дощатому забору, за которым тянулся дровяной склад и передаточная железная дорога.

Начинается игра в лапту.

Ребята первым, без жребия, заставляют водить Петьку. В помощь ему дают ради шутки косоглазого и хромого Серегу Галченка. Петька не робеет. Торопливыми знаками и ыканьем оставляет Галченка подавать мяч, а сам становится в боевую позу ловить мяч и отражать противника. Но при первом же ударе упругий мяч взлетает в сторону и уносится через забор на дровяной склад.

Игра обрывается в самом начале.

— Иди, доставай!—кричат ребята.

Озадаченный Петька стоит и чешет рыжие вихры.

— Иди, Петька, лезь,—кивает сидящая с ребенком под тополями мать Сереги Галченка.— Кстати, мне парочку плашек перебросишь, а то завтра топить нечем.

Петька махнул рукой, гикнул, вскарабкался кошкой по углу забора и перескочил на другую сторону.

За забором лежали разбросанные шпалы, тянулись длинными поленницами дрова, громоздились высокие штабеля бревен, досок и теса. Из трубы маленькой сторожевой будки курился дымок.

Посмотрел, походил Петька. Нет мяча. Вернулся к забору и стал перекидывать добрые, сухие березовые поленья.

Увлекшись работой, Петька совсем не заметил, как выскочили и подбежали к нему два сторожа.

— Во-ро-вать повадился?..

— Который раз попадается этот рыжий!

Петька замер с поленом в руке. Его испуганные глаза как бы упрашивали: „Ведь я же не для себя: Серегина мать просила... Сколько дров... Ну, что вам, жаль такого пустяка?"

Рябой, хмурый сторож вырвал у Петьки полено и, крепко ругнувшись, крикнул своему, точно раз'яренному льву, бородатому товарищу.

— Чего глядишь? Выбросим его отсюда к чортовой матери. Больше никогда не полезет!

Сторожа сгребли испуганного Петьку, раскачали его за голову и за ноги и как грузный мешок перебросили через забор.

## IV.

Усталый Мартын с обветренно-смуглым лицом и реденькой торчащей бородкой возвращался со своего промысла домой. Рогожный куль был пуст, но от дневного хождения с ношей тупою болью ныло плечо: казалось, все еще его оттягивали грузные бутылки, кости и тряпицы, которые только что отнесены на склад. Сутулясь и нагибаясь вперед,

Мартын досадовал, что сегодня почему-то не встретил его Петька. Завернул с улицы за угол, сладко подумал о крепком, горячем чае, а еще больше о крепком и сладком сне. Но собравшаяся в тупике толпа, шум и крики остановили Мартына.

— «Скорую помощь» вызвать!

— На носилках снести!

— Ребята, поищите носилки!

Мартын, загребая ногой, ускорил шаг, бросил у своих ворот пустой куль и метнулся к толпе.

Протолкавшись в середину круга, он увидел лежавшего на земле без движения босоногого мальчика. По золотистым завиткам волос и короткой синей рубашонке Мартын узнал своего Петьку.

— Еще жив!.. Жив!—кричали в толпе.—В больницу бы скорей.

Мартын торопясь взял на руки сына, прижался лицом к теплому, корчащемуся телу мальчика и с болью выдавил:

— За извозчиком бы кто сбегал... Извозчика! Что это с ним? Кто это так его? Ду-шегубы!

Толпа, примолкнув, расступилась. Ребята один за другим побежали вперед к харчевне. И Мартын не успел еще дойти до угла, как

к нему громоздко, с деловитым окликом, подкатил извозчик.

Кто-то помог сесть, повелительно крикнув извозчику:

— Поживее в больницу!

Уже надвигался весенний лиловый вечер. Легкий ветерок веял запахами тополей и сирени. А Мартына трепала дрожь. Держал на коленях сына, и ему казалось, что он летит в темную пропасть. И только когда он вошел в приемный покой и положил бледного и безмолвного Петьку на клеенчатый диван, пришел в себя и застонал от нестерпимой боли:

Врач осмотрел мальчика. У него из ушей, носа и рта шла кровь.

Выслушав трубкой дыхание, врач выпрямился и спросил Мартына:

— Исколотили... или сам ушибся? Весь разбит!

Мартын, нахмурив седые торчащие брови, вытер на лбу выступивший пот и вздохнул:

— Кто его знает, видимо, отлупцовал кто-то... Ведь он у меня убогий... неменький... а я целый день хожу по городу.

Дежурная фельдшерица ушла в палату готовить койку.

Вздрогнувший на диване Петька, как бы очнувшись от долгого бреда, чуть приоткрыл

глаза и, взглянув на склонившегося над ним отца, тихо, но внятно прошептал:

— Я сейчас умру... Тятя, я умираю...

Врач с недоумением смотрел на Петьку и на Мартына.

Москва.

А. Дементьев.

## СЕНЬКА.

День для ученика первой группы, Сеньки, начался при самых удачных условиях.

Во-первых, сегодня не учиться.

Во-вторых, отец еще до света уехал в извоз: следовательно, можно отлынить от таскания мякины с гумна корове.

В-третьих, благополучно удалось отрезать от нового сестриного «сачка» четыре костяных пуговицы. Всем известно, что одна костяная пуговица стоит два пера, а восемь перьев в пенале—это уже порядочный капитал, если перевести его на бабки, конфеточные бумажки, или, например, на разноцветные стеклышки. Да мало ли заманчивых возможностей?..

В-четвертых, за завтраком артистически стянуты два препорядочных куска сахару. Дед рядом доедал оставшуюся от вчерашнего ужина тюрю с квасом и ничего не заметил, старый хрыч.

От привалившей удачи Сенька не мог усидеть на месте, болтал всеми концами свое-

го тела и локтем опрокинул блюдце с постным маслом.

— Что тебя шильями-то щекочут? — пробурчал дед, капая себе на желтую бороду,— собирайся-ка, в урки пора. Гляди, — опоздаешь опять.

— Сёдни праздник.

— Какие еще там праздники! Добрым людям великий пост, говенье, а им все—праздники... Праздновальщики, родимец вас расшиби...

— Парижецка камуна сёдни,—звонко ответил Сенька и пощупал в кармане пуговицы: тут...

— Су-укины дети...—привычно завел дед,— праздник нашли середь святых дней... Ни кстя, ни моля... Эхх!.. Взять бы хорошую ослопину, да по хребтине бы. Па-а-рижецка... Допраздновались, что ни бога, ни царя не надо стало, безотцовщина безпартошная... Вот господь-то, батюшка, и прогневался на нас, грешных. Бывалча, одонья-то городом на гумнах стоят по году не молочены, а ноне, вон, и до масляной не дотянули... Ты вот дрыхал еще, а отец-ат собачкой за возом побёг... За калачами-то за белыми, за обещанными...

— Да будет уж ты,—досадливо отозвалась мать, разгибаясь над квашней и утираясь засученным локтем.—Как заведет, уёму нет.

— Заведешь, небось.

Дед замолчал и зловеще заскреб ложкой в чашке.

Сенька торопливо одевался.

— Ты куда?—обернулась к нему мать.

— Никуда...—прогудел Сенька.

— Я те дам «никуда». На гумно нужно.

— Да-а-а... На гумно-о... Все я, да я. И вчера ходил и третеводни... Хы-хы-ы....

— Я кому говорю?

— Да-а-а. Дуняшку, небось, не посылаешь. Гны-ы...

— Замолчи!

— Да-а-а...

Звонкая затрещина отбросила Сеньку к кровати.

— А-а-а-а...—пустил он сразу во весь голос.

— Зам-молч, сволота несчастная! Польку разбудишь.

— Ы-ы-ы... У-у-у-о-а...

— Зас-сада тебе в кадык.

— Га-а-а-а... Только и знает...

Мать налетела ястребом, яростно надвинула Сеньке шапку чуть не до плеч; одним толчком высадила его за дверь.

— ...дра-аться... — закончил Сенька уже в сенях.

Сразу оборвал, толстым пальцем варежки утер под носом, деловито поправил шапку— вышел на улицу.

Каждое утро радостно волнует Сеньку своей несказанной красотой — каждый раз все по-новому, но сегодняшнее утро лучше всех.

Небо необыкновенно ясное, снег ослепительно чист, волшебно-розовый на солнце, нежно-голубой в тени. Старая ветла смотрит с огорода пушистая от инея. Крепкий морозный воздух спирает дыхание, щекочет Сенькино сердпе.

Все-таки хорошо жить на свете...

Сегодня предстоит столько интересных дел, что при мысли о них Сенька счастливо ежит плечами и широко улыбается... Прежде всего— увидеться с Гришкой...

Сенькин одноклассник, девятилетний Гришка, уже слоняется по улице в своем заячьем треухе и материной стеганой кофте с непомерно-длинными рукавами.

— Гришк!

— Ну?

— Ты куды?

— К Панфиловым.

— Нашт?

— За посудой под самогон.

— Пойдем, штоль-ча?

— Куды?

— А воробьев-то?

Гришка скосил глаза на свою избу.

— Вздрычит...—кратко возразил он, подразумевая отца.

— Нну!..

Сенька беспечно махнул рукой.

— Айда, Гриш... Эх, на поповом гумне и воробьё-о-ов... Прямо... пять тыщ. Ей-бо.

— А корыто где?—все еще колебался Гришка.

— Я уж припас... Валим?

Сенькины глаза подкупающе налились умильной влагой.

Гришка мучился...

— Надыся я жуланов видал там, ей-бо...

Гришка раздумчиво попрыгал на одной ноге, проехался рукавом под носом... Кто может устоять перед удовольствием половить воробьев корытом?..

— Только, чур, на-пополам,—сказал он безвольно.

— А то как же?

Друзья понеслись проулком. Краснощекий Сенька впереди, тщедушный Гришка за ним,

взбалтывая своими рукавами. Навстречу полз воз сена, мышастенький меренок влегал в хомут старательно.

— Дядя Егор. Кнут где?—звонко крикнул Сенька.

Краснобородый дядя Егор, прославившийся тем, что в голодный год с'ел с семьей последний ременный кнут как раз накануне получения «кормовых», добродушно погрозил огромной рукавицей.

— Я-а-а вас, идолята...

Ухмыльнулся.

— Бойкие, шельмы... совецкие.

Товарищески подхватил под оглобли.

— Ну, милок. Карабкайся... У...ще-о...

Воробьев на поповом гумне было хотя и не пять тысяч, но все же очень много. Видимо-невидимо...

На разметеном току — палочкой насторожимое корыто и змеей убежавшая за овсяную кадушку веревка. Друзья лежат за кадушкой на животах и подрагивают скулами. Сенька цепко держится за конец веревки. Гришка жарко дышит ему в затылок... Воробьи — «не идут».

— Бабка Опияда дорогу перешла, проваленная...—просипел Сенька.

— Дай, Сень, я подержу — у меня рука легкая.

Сенька сделал вид, что не слышит.

— Сень, дай...

— Отлипни, — кратко посоветовал Сенька.

— Ишь какой... Ну, погоди...

Один воробей, толстый и чернощекий — должно быть, воробьиный председатель — порхнул к корыту, завертелся, зачирикал, дергая хвостиком...

Два сердца замерли за кадушкой, две груди перестали дышать.

— Хлоп... — ерзнула веревка, птицеловы рванулись вперед.

— Есть... — зверски прохрипел Сенька и навалился на корыто животом.

— Дай... дай я...

— Под край... под... кр...рай...

— Не наваливайся, руку прищемил...

Воробьиный председатель фыркнул в щель. Друзья выпучили друг на друга глаза, стоя на коленях.

— Что же ты?—воплем вырвалось у Сеньки.

— А ты сам чего?..—озлился Гришка.

— Вот лляпну, так узнаешь, как воробьев ловить.

— Ну, ляпни.

— И ляпну.

— Ну ляпп...

Сенька сверху хватил Гришку по затылку, сбил треух на глаза и выбил из Гришкиных ноздрей сразу две толстых сопли.

— Ты... чего дерешься?..

— А ты чего?

Они уже стояли, напирая друг другу плечом в грудь, косясь и ненавистно дыша.

— Бандит.

— Сам бандит...

— Буржуй.

— Сам... буржуй...

— Я вот тебя резну, так спрокинешься.

— И я резну, так спрокинешься...

— Ишь ты... какой.

— А ты какой?

— Акс-плататор.

— Ты сам—аксплататор...

Постояли еще немного, наваливаясь плечами. Отойти первому никому нельзя: резнет по уху... Наконец, оба сразу отодвинулись, красные, туго-налитые кровью.

— Погоди—придешь в наш конец,—пообещал Гришка.

Исчерпывающе вытер нос и опять настроил корыто. Сенька, как умел,—сделал равнодушное лицо и присел сзади на корточках.

Гришке повезло сразу. Желтогрудая, в черной ермолке синичка, порхнула под корыто— раз!—и она уже забилась в Гришкином рукаве.

— Гот-тово, — хвастливо сказал Гришка, — как я ее...

— Слепух... — сонно отозвался Сенька, делая мутные глаза: сердце его разрывалось от зависти.

— Я их, слепухов этих, надася сразу захлопнул... десять штук.

— А я раз жулана захлопнул.

— А я раз зайца чуть не поймал...вырвался, стерва...

— Это что, зайца. Вот я один раз...

Каждому хотелось перещеголять другого своими подвигами. Гришке везло чертовски: ему снова влопался воробей. Свой черед Сенька продержался за веревку в пустую. Гришкину душу грызло раскаяние: зачем уговорился ловить пополам? Друзья посинели, лежа на снегу. Губы у Гришки стали совсем лиловые и шевелились туго, как чужие. Дуло в рукава. Сенькин нос расцвел, как пион.

Завтра он встанет пораньше и один, без помехи, выловит здесь всех воробьев и синиц. Всех до одного...

— Айда, Гриш, к мосту. На салазках.

— Нукштож, — с готовностью отозвался Гришка.

— Ты, Гриш, это... завтра в школу пойдешь?

— А... что? — насторожился Гришка.

— Та-ак... Чевой-то голова как бы к утрему не разболелась... У меня такой карахтер — ежели поем за обедом капусты—смерть. Разломит всеё голову...

— А про буржувазию-то? — напомнил Гришка.

— Чего про буржувазию? — не понял Сенька.

— А отвечать-то тебе завтра.

— О, — Сенька пренебрежительно махнул рукой,— буржувазия... Шкура с них долой,— выругался, как отец и по-отцовски сплюнул. —Кроем что ль за салазками?

— Да-аешь...

Домой влетел Сенька как раз к обеду: все сидели за столом.

— Войны мы не хотим. Но в б-бой гаттовы, — гаркнул он еще с порога, красный и оживленный.

— А, чтоб тебе печенки выкричать. Опять Польку разбудил... И что это за окаянный малый. Только и свет видишь, как его дома нет.

— Гоп... Хиськультура... — выкинул Сенька коленце.

— Лоб-ат окости, тогда уж за стол лезь. Чему вас там в школе учат?

— Учат...—пробурчал дед.—Учат на собак брехать. Надася поглядел я—па-а-ашли всей гурьбой с учителем в разгулку. Снег, вишь, мерять нужно. То-то, видно, делать-то нечего. Нет, чтобы за виски их, обормотов, да за букварь... Эти научатся, небось, только давай...

Ели горох с постным маслом, потом жареную картошку. Сенька торопился, словно на пожар.

— Дунь, — тронул он за локоть сестру, — сёдни в школе спектакль.

— Ну, что ж,—отозвалась Дуня, и красивое лицо ее сразу залилось румянцем, прелестные карие глаза засветились лучисто и нежно.

— Ай не пойдешь?

Дуняша промолчала, подавив вздох.

— Спехтахтели разные повыдумали, — сказал дед. — Беса тешить. Нет того, чтобы в церкву сходить, об душе подумать.

Сокрушенно покачал вытертой плешью на макушке. Зажевал беззубо, желтая в завитках борода задергалась укоризненно. Пятимесячная Полька чмокала материнскую грудь, хло-

пала по ней своей рученкой, таращила синие глазенки, — мать таскала через ее пестрый чепчик ложку с горохом. Худое лицо ее было хмуро. Взглянула на Дуню, вздохнула.

— Нечего ей там делать — в школе, — сказала она значительно.

Дуня положила ложку, встала из-за стола.

— Да ладно уж, — сказала, дрогнув голосом, — понимаю. Слушали бы сплетни больше.

Ушла к себе в светелку.

Дообедали молча.

Когда за обедом наешься гороха с постным маслом и жареной картошки, да запьешь все квасом,—то страшно хочется спать. Но спать некогда. Впереди еще пропасть дела. Прежде всего сделать ревизию своих сокровищ. Сенька пришипился за лежанкой и загремел ящиком со своим богатством... Три гвоздя, обрывок ремня с пряжкой, смотанная леска, половина граммофонной пластинки, целая уйма бабок, шпиль, пустые винтовочные гильзы. Теперь прибавилось еще четыре костяных пуговицы. А сахар — схрупать. Засунул за щеку, затих, отдавшись наслаждению...

Дед завалился на печь. Мать ушла к соседям за солью. Жужжало, дурдыркало колесо прялки. Дуня пощипывала с гребня кудель, напевала вполголоса, смотрела вперед,

не видя. Зимний день заглядывал в оконце уютно, миролюбиво, кротко.

Оббив снег у порога, вошла шабровка Грунька.

— Будя прясть—и так уж, чай, на приданое напряла, — сказала она, смеясь. — А мать где?

— Ушла... Провалиться бы ему и приданому.

— Ах уж... А сама ждет не дождется красной горки... За сваво за милого за Игнашу.

— Как раз... Нужен он мне, как в Петровки варежки.

— Ну, не сердись... Да подруженька ты моя заветная, да милая ты моя, у-у...—обняла ее Грунька порывисто и расхохоталась.

— Ай, не видишь, я шучу.

— Не смешны мне эти шутки.

— Ну, не серчай. Я тебе скажу кой-что...

Грунька плутовато прищурилась. Дуня встрепенулась и расцвела, как мак.

— Будя пустое болтать, — сказала она строго, вдруг побледнев, и опять зажужжала прялкой.

Грунька заговорила полушопотом.

— Да от кого таишься? Или мы не подруженьки с тобой заветные? Или у нас уж и думки врозь? Знаю, ведь, об ком сердце сох-

нет. Ну, да и мужик—бес. Чернобровый, черноглазый. А уж на двухрядке играет — сердце мрет.

Хорошо гармонь играет,
Альниж сердце томится —
Разрешите, гармонистик,
С вами познакомиться —

пропела вполголоса, притоптывая.

— Ух, ты... Я бы на твоем месте... Дура ты, Дуняшка, своего счастья не берешь — в руки дается.

— Мое счастье известно. Пропили уж.

— А ты не соглашайся. Упрись и — все... Иди к нам в комсомол... Теперь не такие времена, как овец нас продавать.

— Не поможет это, Груня.

— Почему?

— Женатый он...—тихо уронила Дуня, потупившись...

— Ну что ж? Живет со своей женой, как кошка с собакой, а тебя любит. Уж знаю, зна-аю. Сегодня на репетиции — «почему,— говорит, — Дуни не видать? Скажи, — говорит, — чтоб на спектакль приходила». Придешь?

Проснувшийся дед свесил с печи свои подшитые валенки, завел:

— Застрекотали... Дались им эти спехтахтели, как вшивому баня. Нет того, чтоб об душе подумать...

— А-а... Молчал бы, дедка, — махнула на него Грунька. — Ду-ша-а... Вас, старых, ежели слушать...

— Вот тебе и «слушать»... А ты послухай... Старые люди не даром век свой прожили. Что теперь пошло? Раздряга. Распутство. Бывало, барин Миколай Иваныч, покойник, царство ему небесное. — Эх, — скажет, — дядя Софрон, придет время, решится Росея... Решится... Вот и дожили. Бога не признают, в церкву не ходят.

— Пожалуй, молись, какой толк?

— Толк... Толк-ат есть, да не втолкай весь. Хлеб кто нам дает?

— Да руки наши рабочие.

— Ну и выходишь — дура.

— Молодой дурак подумает, а старый никогда.

— Ну и ну... Кон-са-мо-ол... Эки народ скрозьземельный! — прорычал дед, снова исчезая за трубой.

— Пойдем, Грунь, в светелку.

А в Сенькином углу за лежанкой уже возился Гришка, как бесплотный дух. Сначала нос его приплюснулся к окну. Потом призрак

его молчаливо встал у порога. Потом тень его переехала вдоль стены и вот уж он сидит на корточках за лежанкой и вопрошает гусиным сипом:

— Ты чево сосешь?

— Сахар.

— Дай мне.

— Ишь какой.

Чтобы полнее насладиться терзанием друга, Сенька сделал на своем лице самое сладкое блаженство.

— Сень, дай хоть вот толичка.

Гришка показал половину ногтя на мизинце.

Сенька вынул сахар изо рта, посмотрел, оценивая, отгрыз половину.

— Пойдем сёдни в школу?

— А то как же?

Гришка порывисто блаженно вздохнул.

— Когда я буду большой, кажинный день буду на спектактели ходить. Да, Сень?

— У-ги... А я буду большой — сошью себе штаны с во-о-о какими пузырями. Как у Пронина, из города который.

— Это называется е-ли-фе.

— Чудно... Сошью е-лифе и поеду на войну, капиталистов бить... — мечтательно вздохнул и Сенька.

— И я.

— Залезу на иероплант, да сверху их по башкам, по башкам, сволочь... Не притесняй трудящий народ! — раздул Сенька ноздри.

Гришка скривился: как это ему не пришло в голову про иероплант?

Подумал... Сверкнул черными глазами.

— А я подпущу авиахимку, ты с иероплантом своим вверх тармашками и полетишь. Што-к...

Сенька мгновенно побагровел: резнуть разве ему по уху?

Но миролюбивое настроение взяло верх.

— Знаешь что, Гриш? Ведь мы оба трудящие? Оба против капиталистов? Я сверху, а ты снизу. Да? Ты снизу будешь подпущать, а я сверху буду полетывать?

— Да-а,—неохотно согласился Гришка.

Из светелки послышался возбужденный, негодующий голос сестры: показывала «сачек», хватилась пуговиц.

Сенька схватил шапку и рванулся из комнаты.

Гришка, еще не понимая, в чем дело, бросился за ним в дверь.

— Дьяволята, дверьми хлобыщут, — прорычал на печи дед,—только было на сон наводить начал... Осподисусе Христе.

Вечером окна школы сияли огнями. У крыльца густела толпа. Ломились в двери, лепились на фундамент, висли на подоконниках, приплюснув к окнам лица.

Сенька вьюном пробуравился сквозь толпу, не обижаясь на тычки в загривок.

Горело пять разнокалиберных ламп. Гудящая публика размещалась по партам и лавкам, лузгала подсолнухи, громко переговариваясь, — кое-где воровато вспыхивали папиросы. Животрепещущая сцена из горбылей была задрапирована крашеными рогожами. На рогожах охрой нарисованы серп и молот, а вверху над ними, в венке сухих колосьев, портрет Ленина.

По потолку с угла на угол, наперекрест развешены флагики из старых тетрадок. Одним словом, было великолепно.

На сцене, перед занавесом из пологов, скрепленных деревянными шпильками, уже битый час мотался товарищ Копчушкин из вика. Ораторствовал «о текущем моменте».

— ...Таким образом, товарищи, выходит такое положение: англо-американский капитализм и прочая фашистская буржуазная свора напрягает, можно сказать, все присилия, чтобы в корне подорвать... подорвать... Да ти-ш-ша, товарищи... прошу внимания... Чтоб, как го-

ворится, в корне... Это... искоренить... Но, дорогие товарищи, не даром мы подняли победное знамя Октябрьской революции и оторвали голову буржуазной своре, которая напрягала все присилия...

— Будя!—гаркнул бас из задних рядов.

— Начинай... Вре-емя...

— Даешь звонок...

— Га-га-га... — дружно грянула аудитория.

Товарищ Копчушкин замотался сильнее, разводя руками, розевая рот — его не было слышно.

Звонок... Общее движение — занавес дрогнул, пополз, накручиваясь на оглоблю, вверх— толпа шатнулась вперед.

Сенька с грохотом сверзился с нагроможденных парт на чью-то могучую шею, получил ошеломляющую затрещину и провалился вниз, в душную и тесную темноту.

Впереди заговорили напряженно-громкие, чужие голоса. Сенька заверещал, забился.

— Стой, товарищи, мальчишку прижукнули.

— Давай его сюда...

Сеньку подхватили сильные руки, перебросили на другие, и он над головами и плечами пропутешествовал прямехонько за кулисы, в какой-то угол из досок и рогож.

Спектакль шел своим чередом. Актеры, сгибаясь пополам, пролезли на сцену, чьи-то заботливые руки затворили за ними низенькие холщевые дверцы, кто-то метался за рогожными кулисами, потрясая сцену, суфлер в будке, покрытый чепаном, змеиным шипом разговаривал за всех. Зрительный зал затаивал дыхание, вдруг всколыхивался смехом, затихал снова.

Сенька провертел в рогоже дырку и рассматривал публику. Впереди сидели плотно, рядами, сзади густо мутнели лица. Вон Егор, Ременный Кнут, улыбается во все потное широкое лицо, вот тетка Сарафаниха, склонив голову на бок, тоже забыла улыбку на медно-красном лице... Вон Дуняшкин жених Игнашка... Форсит: зимой, а надел картуз и руки в белых шерстяных перчатках на коленях уложил... И Гришка—вон он... Ишь, пасть-то распахнул...

— Гришк, — шипом пустил Сенька в свою дырку.

Не слышит...

А вон и Дуняшка... Хоть и в старом полупальтишке, а краше всех.

Сразу упал занавес, больно стукнув Сеньку концом оглобли по темени...

Сразу загалдели, затопали... Забегали по сцене, что-то передвигая громоздкое. Тренькнули, настраиваясь, балалайки... Рядом с Сенькой за перегородкой голос Николая Павловича, учителя, тихо и взволнованно проговорил:

— Что ж это не видно тебя нигде?

Дунин голос ответил так же тихо и трепетно.

— Некогда было... Пряла все...

— Соскучился я до смерти...

Молчание... Звук, похожий для Сенькиного опытного уха на сосание сахара.

— Душенька моя... Правда?

Дуня тихо и счастливо засмеялась. Потом голос ее проговорил-пропел:

— Родные дома поедом с'ели... По всему селу уж раззвонили. Что мы им сделали?

— Дуня... Послушай меня...

— Ни к чему все это, Коля, сокол мой ясный. Рвется мое сердце на куски... Забыть бы, не думать—силы нет... Жена ведь у тебя...

— Эх, не напоминай... Уедем, Дуня.

— Не могу... Не могу... Разлучницей быть...

На сцене оркестр (три балалайки и бубен) отжаривали «польку-бабочку» так, что в ушах трещало.

Что-то с грохотом упало за кулисами—торопливо пробежали мимо.

— Какой-то чорт курит в помещении? Шварев, выстави его.

— Куда, дьяволы, молоток задевали?

— Готово? Товарищи, занимай-ка на сцене места...

— Стой, стой... Не прибито еще. Где молоток?

Шумно, оживленно, весело.

Сенька за своими рогожами веселился от души.

Каждый день бы так...

Домой пришел Сенька поздно ночью, распираемый обилием впечатлений, настроений и вихреподобных чувств, — пошатываясь от усталости.

— Полуношники... Носит вас домовой...— забурчал дед на печке.

— Деда. Вот, брат ты мой, здорово было,— восторженно сказал Сенька, укладываясь рядом. — В балалайки зашпаривали, отдай все да мало.

Помолчал. Вздохнул счастливо.

— Деда, купи ты мне, Христа-ради, балалайку: все одно, ведь, скоро помрешь...

— Спи, знай...—сердито отрубил дед.

Сенька покорно и блаженно закрыл глаза·

Уснул с ясной, счастливой улыбкой на лице.

Сквозь сон слышал материнский сердитый голос, возбужденный голос Дуни...

— ..да люди-то, люди-то что скажут?.. Отец узнает, убьет...

— ...Лучше смерть, чем такая жизнь .. Запишусь. Завтра же запишусь в комсомол...

— Проклянем с отцом...

Дед рядом:

— Вот дожили сами. За непочтение-то родителей...

Дунин жалобный и тонкий плач...

...А все-таки хорошо жить на свете...

г. Стерштамак.
Башреспублика.

---

П. Соколов.

## НЕДАВНО.

Брак учителя и учительницы дает резонирующую породу: любящее всё об'яснять существо с торчащими вихрами,—учительское.

Катя Гимбина говорит:

— Так как на солнышке всему тепло, то потому оно днем и бывает. Ночью же все спят.

— А отчего луна бывает? спрашивает другое существо.

— Луна? Это неправда, луны теперь совсем не бывает.

Собеседникам по шесть лет. Они меряют, у кого длиннее морковь. Петя — не учительский и верит, что у него короче, хотя и видит, что его полморкови Катя зажала в кулак.

«Как Катю вырастить?» думает отец. «Матери нет, новую мать найти?»

— Катя, хочешь новую маму?

— Видишь ли,—ответила Катя, — новую-то не штука, да если она опять такая же: опять умрет?

Катя матери не помнит. Три года уже она одна хозяйничает отцовскими вещами. Отец ей шьет башмаки, сторожиха—платьица, а она им обоим открывает дверь, караулит горшок в печи, метет, иногда топит школу.

Катя обходит отца, занятого дровами, жмурится, когда летят из-под топора лучинки, и бежит прыгать на проталинке у забора, где скоро будет огород.

— Катишна, — раздается из-за забора, — у тебя мамка-то Максимиха!

— Врешь!—кричит Катя.

— Зобастая Максимиха—мамка. Тю!

— А у тебя отец—оглашенный!

— У тебя отец никакой, а мамка—Максимиха.

— У меня отец тебе уши надерет, а ты... у... чтобы глаза мои не глядели, тьфу, тьфу!.

Катя топает на проталине ногами и злобно кричит в щель:

— У... у!..

Щель и глаза залепляются грязью, кто-то шлепает ногами, убегая. Чуть не плача, подбегат отец.

— Что, Катерина, глаза? Ах, ты! Опять ты ребят задираешь?

Катя не плачет, идет в комнату, моется, молчит. Вечером говорит отцу:

— Зачем у нас Максимиха?

Максимиха—сторожиха. Ей пятьдесят с лишним лет. За зоб, за маленький рост, за беззлобивость и какую-то болезнь ребятишки не любят ее.

— Погоди, Катя, возьмем маму, а то в дом тебя увезу к ребятам. Там музыка, Катя, а как Рождество—елка. Вот ты елку не помнишь, ты маленькая была—с мамой мы для тебя делали.

— Почем?

— Что почем? Она из лесу. Потребиловский Ваня, он уже большой был, спроси его. Он помнит.

— Нет, маму не надо. И пусть Максимиха тоже, как не мама мне будет.

— Да она и так не мама. Что ты?

— Не надо Максимиху, не хочу, не хочу.

Только когда разрыдалась и устала, — уснула.

---

Гимбин—учитель. Продажная тварь: за два червонца власть хвалит. Четвертый месяц по два червонца дают, — завел полушубок, валенки.

Тищенко учтиво кланяется.

— Сколь за тулупец-то платили? С хлебцем-то каково у вас теперь? Семейством не желаете ли обзавестись?

Тищенко и говорит, что Гимбин—продажный.

С Тищенкой участливо молчал Гимбин, когда были девятнадцатые годы. У Тищенки все брали, у Гимбина ничего не было, — общие разговоры могли быть. Гимбин был ученее и знал, что французская революция была. Думал, что об революции всегда можно говорить, как о французской. Свой по речи был для Тищенки Гимбин. Потому и говорит теперь Тищенко про продажность.

Неловко было видеть глумящееся лицо Тищенки, когда приезжие говорили в школе про годовщины. Торжественно и пронзительно врывался он в Интернационал, шевелил за многих губами и подмигивал Гимбину. Однажды напился, пришел в школу с кирпичом. Кирпичом ничего не сделал: не посмел. Но долго кричал в коридоре.

От проезжих и по книжке и сам стал Гимбин говорить о годовщинах. С пустотой в голосе говорил: глядел на других. Сокращали и чистили в эти годы нещадно. Учитель учителю отливал в чистке всё, что только находилось отлить. Кто говорил про годовщины,— не чистили. Умерла жена. Ушел бы от чисток в город, — на руках Екатерина. Читал снова про французскую революцию—легче не было.

— Как лимончик обсосем вас и прощевайте.

От ребятишек в школе бежал к Кате, над ней сидел и читал про революцию.

Тихой речью про хорошее заговорил вначале союз. Работник, детй, обеспечение, право на труд,—вот говорил союз. Работник ли Гимбин?—Работник. Имеет ли право на детей?—Имеет. Должен обеспечен быть?—Должен.

Ничего прямо союз про Катю не говорил. Говорил про работу. Но для Гимбина работа—Катя, пить-есть этой Кате надо. Стал носить Кате по два червонца в месяц.

Меньше стал точить деревенцам веретена, совсем перестал переписывать по-печатному и по-славянскому молитвенники и поминания.

Про революцию думал: Катя без труда ее возьмет. Вон молоденькие на деревне—по уши в революции, как рыба в воде. И вот почему?—Потому что нигде не задевая в нее попали. И когда говорил про годовщины, теплел, если слушала молодежь. С тех пор и Тищенко по-наглому глядит. Старая-то деревня еще сильна, у нее скрепы есть. У Гимбина с этой деревней скрепы порутились, а на новую он глядит только тепло, а рукой ни до чего не достает: нет еще крепких скреп с новой деревней.

Тоже Катя нашлась на деревне: Финогента из волости дочь. Детский склад еще в ней. В третьем году училась. И что-то новое вгнездилось в нее. Придет Гимбин к Финогенту, удивляется:

«Девчонка у меня училась, а что теперь с ней—не пойму».

Понимать надо было вот что: с проталин, с леса, с неба в золоте, со всех пашен и с апреля—все, что было, собралось в Катю. И проталины унылы стали, и лес. Небо без золота осталось. Пашня раздражала. Апрель постылостью, безвременьем дышал. А радость и доля ушли в Катю. Молоденькая. Шестнадцать лет. Как веточки висят на шее подстриженные волосы.

«А что, если бы еще одну Катю?»—думал.

И еще думал:

«Не отдаст Финогент: вдовец, учитель!..» А захаживать стал.

Катя иной раз спросит:

— А девочка с кем?

И жалеет Гимбина, жалеет Катю. Поговорит Гимбин—больше с Финогентшей—и домой. И тепло ему. Даже с маленькой Катей стал поговаривать:

— Вот ужо возьмем маму. Ты только не думай, что это плохо. Вот ты не знала ли-

пучки. Помнишь липучки? А ты тоже говорила—не хочу липучки, не надо. А помнишь, я их из города привез? Ты же дурочка еще. Так и мама. А маму бы мы взяли, Катя,—эх, что и за мама будет! Тебе бы она платья шила, играла бы с тобой. Вот бы грязно так у нас с тобой не было. Ну как, дурочка?

Нет, не соглашается Катя с мамой. Разговаривают они с отцом вечером долго, пока она не уснет. А днем Гимбин видит: размазывает мокрой тряпочкой пыль по полу Катя и говорит:

— Вот все равно. Без никакой мамы. Ты и Максимиху прогони.

Мнет свою дурочку в руках Гимбин, отправляет потом все к той же Максимихе и идет к Финогенту.

Раз зазвал большую Катю к себе.

Постеснялся розового одеяла, загнул его, а из-под постели глянула солома. На стене рамочки — сам делал холостой. В рамочках жена, курсы, дядя. Катя подошла к рамочкам. Хорошенькая у Гимбина была жена. Катя обидчиво подобрала губы. Вспомнилось, как умирала учительница, и они целый месяц не учились. Затхло у Гимбина, жалко его! Катя села на лавку и посмотрела на него. Учитель все-таки, ее учил; любит вот ее; вот

этот самый, — ну разве она не знает? Катя усмехнулась.

Прибежала маленькая Катя. Пальтишко на ней ста-а-ренькое. Запыхалась, со всего разбега стала в дверях. Вошла в комнату тихо, прилипла к стене. Бодливо опустила голову, отдула щеки и глазами ходила по Кате большой.

Максимиха принесла самовар. Когда ушла,— изогнулась за дверями ухом к комнате. Если Гимбин звал—отходила, брякала ковшом на плите и потом уже шла в комнату.

— Ну, что?—спрашивал потом Гимбин Катю маленькую.

Катя уклонялась. Радовался Гимбин: нравится Катя большая Кате маленькой.

Только один раз потом она спросила:

— А почему у нее на роте мозоль?

Долго смеялся Гимбин: это было родное пятнышко. Катя большая им и была отметна, им-то больше и была хороша.

---

Повстречал невзгоду Гимбин от Тищенки же: заслал Тищенко сватов к Финогенту. Может, родинка Кати, а может быть, и мебель, и одежда Финогента показались в этом случае хороши. Деревня притаилась: что-то будет— Тищенко сватает четвертую жену. Он одел

сапоги до пояса и прошел, как молодой, с гармонией по селу. Тищенке ответили: Катю еще учить надо. Деревня же говорила, что он носом не вышел.

Начались для Гимбина черные дни.

Кончалась школа, приходило лето, надо было за пашню браться. И надо воевать с Тищенкой. Утром вставал и думал: то-то надо и то-то. И при всем этом думал и про Тищенку. Когда забывал, — напоминалось. Комсомол пришел с обыском: где у Гимбина книги из читальни? Милиция пришла: где безкурковка двухствольная и наган? Уоно говорил: почему мало занимается Гимбин? Везде была Тищенкина рука. Забывать не приходилось.

Катя большая то отступится, то нечаянно скажет:

— Коня заводить надо.

И Гимбин надрывается над конем.

Максимиха сказала:

— Не нянька я Катерине.

И привела дочь:

— Нанимай, я возиться не буду.

Положил Гимбин, чтобы не жаловалась Максимиха, Еленке три рубля. Учил плохо с этих пор. На последних ребят глядел с докукой. С Пасхи в других деревнях не ходят, а тут хоть все лето. Говорили, что будет ма-

нуфактура тем, кто учится, и ребят не убывало. Сам же распустил: кончено, отучились, перешли все. Отсеялся, огород выправил,— подошли курсы. Уезжал в город, оставил Катерину с Еленкой. Кате большой показался в вышитой рубашке. Совсем уже отбивалась Катя, да курсы встревожили — учительницы там, ученые. Провожала, как своего. Даже поцеловал Гимбин ее прямо в родинку. Из-под полотняной рубашки руки черные были, как гряда. Подержал этими руками Катины— розовые руки, уехал.

Курсы в городе собрали всех. Учителей мало, учительницы. Такие же руки закоптелые, как у Гимбина, такие же вышитые рубашки у вдовых и холостых. Семейные осторожно стоят по сторонкам. Холостые табунком стоят. Учительницы составляют главное движение. Заправилы учителя ответственно уединяются. Открылись курсы, заговорили с'ехавшиеся. К заправилам образовались нити. Гимбин из первых стал там своим. Неуверенно сговаривались в работе. Дело ясное: новая школа, никому только не ясно, какая. Вопросы, выступления, общежития, комиссии, кружки, заседания, всякие новости, — много чего на курсах. Не замечает Гимбин времени.

Через неделю узнал, что хворает Катя маленькая. Заехал Финогент и сказал. Разговаривал Финогент расположенно: что-то там, значит, действует Катя большая. Из-за этого было легче думать о Кате маленькой. На завтра среди курсов устроился с'езд: выбирали новое правление союза.

— Гимбина!

Поднимали руки, прошел Гимбин.

А еще на завтра, как снег на голову—все читали: «Таких не надо!» Газета из губернского города говорила: Гимбин учитель—учит никуда, истязает детей, ворует книги. Под конец прибавлялось: вымогает у подчиненного технического работника—женщины—супружеские утехи, растлевает несовершеннолетнюю няньку, славится на все село несдержанным пристрастием к женскому полу.

Уоно—учреждение сговорчивое: ничего не сказал уоно, когда Гимбин выяснил дело. Клевета—дело ясное. Но кому не надо было Гимбина, тому пригодилась и газета. Учительницы по коридорам шептались. Когда еще раз голосовали Гимбина, рук уже не поднималось. Устоял Гимбин в уоно, не устоял у учительниц. Когда же приехал домой, увидел, что не устоять и нигде. Тищенко разносил свое куда надо. Финогент и Катя отмалчи-

вались. Максимиха стала медоточивой. Еленку все время кто-то звал пить чай. Катя маленькая росла на улице.

Не раз поднимался итти к Финогенту, не раз говорил Кате: «Зайди»,—не выходил разговор с Катей. Ну, что он скажет? «Неправда, мол, Катя?» А с какой стати она его послушает? Она вплелась теперь в общий венок деревни. Ее юбочка сверкает среди других на полотьи, на покосе, в праздник на полянках. В волости один присоветовал: «Судись!» Вспомнил Гимбин прежнего предвика: пришла машинистка раз к Гимбину же, просила по возможности в стихах описать, что предвик ее изнасиловал; вспомнил, как чахнул тогда предвик—хотя никто и не описал, и как, разведясь с семьей, ушел под конец с машинисткой в город.

С Катей маленькой говорил:

— Катя, не будем маму заводить. Ладно?

Катя этим уже не интересовалась. Когда осенью случайно заезжий чужой учитель остановился у Гимбина пить чай и осматривал школу, Гимбин нервничал. После учителя любовно собирал все летние бумажки из уоно и ответил чистенько на каждую в отдельности.

А еще через неделю у Финогента мать с дочерью плакали. Дочь от обиды, мать из-за дочери. Гимбин в волости женился на Максимихиной Еленке. Что-то мать такое и говорила в утешение дочери, но плохо это обе понимали. Говорили о том, что не просто стало жить и еще о том, что у мужчин теперь революция.

с. Качуг, Иркутского окр.
Сибкрай.

Л. Гуринова.

## МОСКОВСКОЕ.

В моей груди растет тоска.
Казалось, так недавно солнце
Сияло ласково в оконце —
А радость жизни далека.
Недавно были перелески
И сосен красные стволы,
И запах ягод и смолы
В сияньи солнечного блеска.
День отзвенел и догорел.
Я оторвался от деревни,
Поросшей мохом, тиной древней.
И город—мой теперь удел...
А помню май в селе убогом,
С полсотни школьников-ребят
Несут своих трудов плакат
По солнцем залитой дороге...
В избе-читальне суета,
Там рьяный комсомолец Миша
Устроил хор, кричит: «Потише!»
И просит всех занять места.
Учитель вышел на трибуну:
«Значенье дня»—таков доклад;
Бородачи кивают в лад,
И новая в них зреет дума.

Я радость жизни променял
На суету столицы красной,

На строчки-деньги своевластно
Души богатство разменял...
Москва ничьим слезам не верит,
Здесь никому меня не жаль,
Здесь люди, твердые, как сталь,
А небо с солнцем лицемерит.
Здесь губы яркие, как кровь,
И глазки—бойкие плутовки,
Подгримированные ловко,
Всем выдаются за любовь...

А помню жаркий, летний день,
В саду краснеющие вишни
И тот, кому теперь я лишний,
Полуразрушенный плетень —
Свидетель позабытых встреч
И взглядов, пойманных случайно,
И полудетских ласк нечайных,
И дрожь девичьих, юных плеч...

Душе моей здесь нет простора...
Здесь все спешат, как на пожар,
Здесь электричество и пар,
Здесь день и ночь гудят моторы...
Пусть так; но к жизни неизвестной
Под сень родную не вернусь,
Хотя подчас жестоко бьюсь
За жизнь в стенах столицы тесной.
Я бросил все к ее ногам,
Живу, весь в камень замуравлен,
Я болен, я Москвой отравлен
И за Москву я жизнь отдам.

с. Горки, Глуховского окр.
Украина.

И. Пронин.

## ТЫКВА.

Была она желтовато-зеленая с бородавками и опухолями по бокам и из рук-вон большая.

Растил и холил ее в палисаднике под школьными окнами учитель Стряпухинской школы.

На выставке в «день урожая», среди репы, моркови, колосьев, ржи и прочей сельскохозяйственной мелюзги, тыква казалась беременной женщиной в хороводе ребятишек.

Над тыквой был приклеен лист бумаги с жизнеописанием чудовищного овоща, а возле большая, как около утопленника, неграмотная толпа.

— А, матушки!..—восклицали бабы, всплескивая руками.

— Ишь, как ее вздуло!—удивлялись мужики.

— С чего это ее, братцы, расперло? А?

— С чего? Знамо с чего, с науки... Наука она и не так еще разопрет — это уж такое окаянство. Мне намедни Микулинский поп рассказывал... Один ученый это... взял да свой шкелет заживо и пропил.

— Ну?

— Глазам лопнуть.

— Эй, борода, отодвинься-ка чуточку, не видно...

— К чему это он шкелет-то приплел?

— Как к чему? А к тому, что ученым это проще пареной репы: тыкву ли вот такую сделать, шкелет ли свой на ходу пропить.

— По-моему, тут наука не при чем. Тут слово знать надо.

— Что ж, по-твоему, слово это — не наука что ли? Еще какая наука-то. Попытай-ка, не знаючи слова, пчел завести, аль там свиней природных ристократических воспитать.

— Ну?

— Ну и будет тебе фиг, коль слова не знаешь.

Тыкву щупали, гладили, похлопывали по бокам и ковыряли ногтями.

— Кабыть настоящая.

— Настоящая-то настоящая, только тыква ли?

— Что ж, по твоему? Неужто арбуз?

— Не арбуз, а, может, инако как называется. Однажды я видал в Самаре собачищу. Вот эдакую...

— Тише ты разводи руками-то: зубы чуть не вышиб, дьявол...

— Словом, аграмадную. У меня индо ноженьки подкосились со страху. А на поверку, глядь, это и не собака вовсе, а какой-то сын бернара называется. Такая, значит, животная, вроде собаки.

В толпе начали хвалить учителя, вырастившего чудо-тыкву. Заговорили, что, видно, придется-таки в конце-концов дать ему под школьный огород десятину землицы. Однако, для верности решили послать за дядей Мироном, который при царизме в «ранжирее» графа Протастова огородником состоял.

— Пускай хоть подтвердит, тыква это иль что другое.

Дядя Мирон, услыхав про тыкву, зазеленел от ревности и закабенился.

— Не пойду. Нечего мне там делать на вашей на выставке.

— Да ты, чудасия, взгляни только. Диковина. Ты в жизни не видал такой обощи.

— Я не видал?—взвился дядя Мирон.—Вы картошки столько не видали, сколь я навидавшись нанасов у графья в ранжиреях.

— Нанасы нанасами, а это тыква. Может, ей в подметки не годятся твои-то нанасы.

Поглядев на мужиков сверху наискосок, дядя Мирон брезгливо отплюнулся и поплелся за ними к сельсовету. Через широко расту-

пившуюся толпу он подошел к тыкве, долго молчал, потом ткнул тыкву пальцем и промямлил:

— Надутая.

— Как надутая?—колыхнулась толпа.

— Так и надутая. Потому как земля такую чортову произрасти не в состоянии.

И вдруг кто-то в толпе вспомнил, что действительно, когда тыква росла в школьном палисаднике, около нее стояла какая-то машина, точь-в-точь похожая на ведро, и что из ведра под тыкву тянулась какая-то кишка, похожая на мочальную веревку, из которой под тыквин корень капала вода.

— Видали, как надувают бычий пузырь?— спросил дядя Мирон и, осмотрев всех до единого, презрительно добавил:—А вы сейчас уж и чудо. Эх, вы... тыквы!

Один из мужиков, обиженный учительским обманом, грохнул тыкву о земь. Тыква треснула и развалилась пополам. Внутри у нее были семена, как полагается у настоящей тыквы. Кто-то захохотал. И крикнул Мирону:

— Гляди, Мирон, что твой ананас!..

Гор. Бугуруслан, Самарской губ.

Василий Лезин.

## КАРАБАШ.

(Уральские наброски)

*На Станции Кыштым-Дамба.*

Завод не знал такого шума,
Какой сегодня здесь с утра.
Уж много лет он ждал угрюмо,
Когда придет его пора
Бросать горам железный вызов.
Но здесь, платформы все унизав,—
Последний вылет учениц,
И звонкий щебет этих птиц
В пустых цехах лишь эхо будит.
Но вот в мгновенной тишине:
«Дымит, идет!» кидают мне.
Вновь шум и смех. Но грустно будет
Дорогой думать мне не раз,
Что нет здесь милых синих глаз.

*Дорога Кыштым-Карабаш.*

К горам ведет узкоколейка,
Блеск рельс на солнце режет взгляд,
И наш состав цветист, как змейка,
От летних кофточек девчат.
Скользим по сваям над водою,
Здесь голубой, там золотою,

И вот уж лесопилки дым
Нам машет лоскутом седым,
А там и сосны с мягким шумом
К нам тянут сотни теплых лап.
Как хорошо! Но только слаб
Язык и не послушен думам:
И не унять мне вольных птиц,
Как и распевшихся девиц.
В «депо» задержка. «И стоим мы!»—
Ворчат,—«Когда же в Карабаш?»
А им в ответ невозмутимо
Кондуктор цедит: «День-то наш».
И, глаз прищуря, смотрит в небо,
Потом, смеясь, ко мне: «И где бы
Найти покой мне от девчат?»
А те и думать не хотят:
«Кондуктор, милый! Ну, когда же?»
Но вот свисток, другой, и так
Мы едем дальше. Сугомак—
Как зеркало,—не шевельнется даже
В нем тёзка[1]—книзу головой—
С горящим солнцем над собой.
Но дальше, дальше. Стены леса
Все раздвигает паровоз.
Порой зеленая завеса,
Обвив нависнувший утес,
Девичьи руки к веткам тянет—
И вот пари—«ну, кто достанет?»
Не может эта, как и та.
Близка «Девятая верста».
Налево пруд у «Дальней дачи».

---

[1] Сугомак—озеро и Сугомак—гора.

Там только мельница видна.
«Ты знала Зою?»—«Здесь она
Тогда и утонула, значит...»
И легкий вздох девичьих душ
Впервые за день слышит глушь.
Все ближе горные вершины.
Глаз оторвать от них нет сил.
Урал, что прежде цепью длинной
Шел справа,—нас остановил.
«Опять какая-то стоянка?!»—
«Не знаешь что ли?—Черемшанка.
Скрещенье».—«Долго?»—«Полчаса».
Уже алеют небеса.
В логах туманы стелет вечер,
И к соснам засиневших круч
В последний раз прижался луч.
Вот ночь приносит звезды—свечи,—
И тает вдруг девичий шум
В наивной грусти вешних дум.
Опять, как птицы пред отлетом,
Платформы нижет молодежь.
Темнеет даль—и ничего там
Теперь уже не разберешь.
Спокойны, точно изваянья,
Стоят вкруг горы с мирозданья,
И нет им дела ни до нас,
Ни до любимых мною глаз,
Таких же синих, как и небо
С мерцаньем крупных горных звезд...
Но прозвенел чрез речку мост,
За ним вопрос: «Хотите хлеба?»
И чья-то бледная рука
Мне тянет долю пирожка.

*Завод мертвец.*

Но вот прощаемся с лесами.
Лишь куст кой-где на ребрах гор
Маячит тенью перед нами.
Пустырь домов пугает взор,—
И с Карабашского вокзала
Мы лентой тянемся усталой.
Увы... без стекол наш приют!
Кого не помещали тут?..
Милиция была последней,
Забыла вывеску, висит.
Но даже внешний жалкий вид—
Ничто пред тем, что там... — «Вот бредни—
Не стерли пыль». Когда тут ныть?—
И принялись скрести и мыть.
На утро добрым старожилом
Нам был показан весь завод:
Старик знал все, когда что было,—
Здесь с основания живет:
«Работа, вам скажу, кипела.
И вот мертво такое дело!—
Ведь, золотое это дно,
Не даром тянет их оно».
Здесь все, на что ни кинешь взора—
И этот ржавый паровоз,
И лом, что сброшен под откос,
Глядит бездействия укором.
Вот тачка—можно б довезти—
Ругнул и бросил на пути...
Но молодежь не любит смерти:
«В руках свободного труда
И Карабаш еще, поверьте,

Забьется жизнью...» Но когда?
Давно несутся слухи эти,
Но, столько лет прожив на свете,
Ума набрался я у них:
Как тут без денег—и больших!
А где?.. идите с миллионом,
Быть может, даже не одним»...
«Коль надо будет, два дадим»,—
Ответ таким был сказан тоном,
Что тронул даже старика,
Пусть, насмешив его слегка.

*На горе Карабаш.*

Потом с железного кладбища
Идем в наш вымытый приют,
Где ждет нас кой-какая пища.
Немного отдыхаем тут,—
И вот уже цветистым роем
На Карабаш тропинки кроем.
Порою труден здесь под'ем—
Ни деревца теперь на нем,
За что бы можно уцепиться.
Пусть Карабаш[1] был черн от дум—
Один лишь только бодрый шум,
Что вверх бросает юность-птица,
Уж гонит урквартовский сплин,
И все яснее глубь долин.
И с каждым шагом перед взором
Все больше ширится Урал:
Как будто волны, волны—горы,

[1] По-башкирски «кара»—черный, «баш»—голова.

Окаменел за валом вал.
Бор, из долин к «камням» взбегая,
Весь в неге солнечного мая.
И здесь и там в оправе скал
Цепь голубых озер-зеркал.
Но вот мы с ветром на вершине.
Вдали, как дым, мое село
К горам с востока прилегло,
Но редко кто приедет ныне...
За ним кантон[1]... И гладь и ширь
Уходят в хлебную Сибирь...
О чем-то вышка здесь скрипела,
Что прежде нас к себе звала,
А молодежь в ответ лишь пела:
«Что скрип в сгнивающих углах?..»
Был чистым сердцем гимн украшен
И к изумрудам новых пашен
С гор вольным ветром унесен.
А здесь был так прекрасен он,
Такая вера в нем звучала,—
Что вниз на трубы лишь взгляни—
И задымятся вновь они,—
Что не кладбище там лежало
Кипевших день и ночь работ,
А воскресающий завод.
Назад увлек восточным склоном
Осмотр старательских работ.
Тютьярец встретил нас поклоном—
Старик не раз видал господ:
Кто ж стал бы по горам шататься,
Когда крещеные убраться

---

[1] Аргаяшский кантон Башреспублики.

Еще с посевом не могли.
«Большие были корабли,—
Да вот куда-то все уплыли.
Должно, вернутся... Хоть—завод,—
Ну, как ты пустишь без господ?
У них и деньги, знамо, были...»
Девчата встали с ним в тупик:
Никак не верил им старик.

*Возвращение.*

Спокойно было возвращенье:
Уже осмотрен Карабаш.
Как и вперед—сначала пенье
Нес по долинам поезд наш.
Но смерк закат—и приуныли,
Утомлены ходьбою были.
Ночь накануне—вся без сна—
Была молчания полна.
Девчата все уснули скоро.
И стало мне так жалко их—
Наивных, милых и простых—
Как будто там, за гранью бора
Ждет жизнь, чтоб срезать их расцвет...
Что чувство позднее?.. Нет! Нет!
Да будешь в век благословенна,
Любовь, когда б ты ни пришла,
И мука радостного плена,
Что ты с собою принесла.
Я, уходя от этой жизни,
Не брошу слова укоризны
Тебе за поздний твой приход,—
Ведь я любил, люблю, и вот,—

Я ухожу, благословляя
И девушку в расцвете лет,
И чувство к ней, и шлю привет
Души, печально жившей в мае
И вдруг расцветшей в сентябре,
Грозящем смертью на заре...

*Новая поездка.*

Сентябрь... Сентябрь другого года.
С железной к утру тишиной.
Но жизнь воскресшего завода
Зовет к себе, хотя со мной
Теперь уж девушки другие.
А те?.. Уж умерли иные,
На курсы две иль три ушли;
А большинство—цветы земли—
Детей крестьянства холят в школах.
Увидеть хочется их всех,
Услышать милый звонкий смех
Минут беспечных и веселых,
Иль ободрить, хотя б слегка
Развеяв жизни облака...
Не жалко осени червонца —
Швырнуть и в грязь вдавить ногой,
И оттого сейчас оконца
Все чаще в роще золотой.
Порою бисер паутинки
На грудь алеющей осинки
Лукавый нижет ветерок,
Чтоб сняв с одеждой, бросить в лог.
Вот подлетел в бору к березке
И, расшалившись между дел,

Совсем раздеть ее хотел.
Со смятым золотом в прическе
Ушла за елочку она,
Смущеньем девичьим полна...
Вновь листопад, но так отрадно
Здесь пить мне осени вино—
И дышишь полной грудью, жадно,
Но надышаться мудрено:
На обожженных солнцем склонах—
День, точно яблоко, ядреный,—
Что не ушел бы никуда!
А не приехать ли сюда,
Когда на сучья ляжет иней,
И бриллиантовых снегов
Кругом засветится покров
В мерцаньи звезд пустыни синей,
И месяц в свой ночной дозор
Осветит склоны спящих гор?..

*Воскресший завод.*

Но поезд к доминам подходит.
К концу осенний день идет.
И совершенно не походит
Дымящий трубами завод.
Не бесстекольем мертвых окон
Пугает он,—нет, светлый локон
С четой веселых карих глаз
В окне теперь встречает нас.
Белоголовые мальчишки,—
У них такой задорный вид,
Что бабка им с крыльца грозит,—
В вагоны нам кидают шишки.

Пахнуло серой—дышит наш
Медеплавильный Карабаш.
Склонясь к настурциям балкона,
Что по шнуркам еще вились,
Мы увидали, как по склонам
В домах вдруг лампочки зажглись.
«Цепь из огней»... «А там их груда».
«А что за зарево оттуда
Снопом рассеивает мрак?»
«Ах, под откос сливают шлак...»
И было жаль, что здесь со мною
Нет ни одной из тех, кто знал
Завод лишь труп, что там лежал
Да гнил нод ржавой тишиною,
И не видал у молодца
Его рабочего лица.
В чужом труде отрады мало,
Лишь, поработав сам, поймешь,
Какое счастье в вечер алый
В свой скромный домик принесешь.
Но здесь, смотря на труд другого,
Труд--часто очень нездоровый,
Я не завидовал ему:
За шахту, тесную тюрьму,
За смрад пылающего горна
Я не отдам полоски ржи,
С ромашкой белой у межи,
С навесом зелени узорной
Берез, бегущих до реки,
Где тихо свищут кулики...
Прими же мой поклон из дали
За свой тяжелый бодрый труд,
Работник шахты, меди, стали,

Творец машин, что к нам идут,
Неся порою улучшенья,
Порой такое облегченье,
Что слово самое «страда»
Исчезнет скоро навсегда,—
В полях работает машина.
И не ворчит уже свекровь
На снох, сердито хмуря бровь,
Что те жалеют нынче спины,—
А то, что там ни говори—
Ох, трудно,—с зорьки до зари.
И потому-то сообщенье
Меня тревожило в пути,
Что на заводе сокращенье
Весной придется провести.
Легко ль терять в работе друга?
Из заколдованного круга
Найдет ли выход наш Урал?
Один всего я в жизни знал—
Самим работать и учиться.
К тому и в школе Ф. З. У.
В цехах станки ребят зовут,
То под рубанком ученицы
Поет доска... И только ты
Ушла за грань моей мечты...

Кыштым. Урал.

Дм. Малышев.

# В ТОТ ГОД.

## I.

В комнате, где окна на улицу были косо-боко завешаны шалью и стеганым одеялом—боялись обыска,—свесившись с потолка, безжизненно горел зигзаг 16-свечовой лампочки, будто прислушиваясь к вою ветра за стеной, в наличниках. Сидели перед пустой клеенкой стола в пальто нараспашку, в шарфах на шее и с шапками в руках.

Андрей Батенков в шубе, накинутой на плечи, и без шапки (на положении хозяина), зябко засовывая холодеющие руки в узкие рукава пиджака и чувствуя, как холод все же трогает корни волос, расхаживал по комнате и говорил:

— В сущности все мы—революционеры и не меньше тех, кто делает революцию, потому что остро, хотя и по-иному, переживаем революцию. Я вот сегодня пил этот желудевый

кофе. Так без сахара не мог. Такая была минутка, что весь мой организм завопил о сахаре... Я обыскал весь шкаф, весь чулан. Шарил по всем уголкам и даже на полу. Ну, хоть бы крошечную крупинку сахара! И—не нашел. Кофе за это время остыл, провонял, и я просто вылил его в помойку... А сам в тоске лег ничком на подушку и хоть бы плакать от обиды... Или вот недавно моя Надя—кивнул в сторону уткнувшей нос в мех воротника жены—сварила кашу из овса. Так эту несчастную овсянку жевали мы два дня, да еще осталось.

— Вот именно,—исподлобья и деликатно взглянул на Андрея седой в подшитых серых валенках гость,—нас, что называется, вымаривают, как клопов.

— Но все это, конечно, мелочь и обывательщина,—сейчас же поморщился от такого вывода Андрей.—Не в том дело. А вот что странно и удивительно.—Он снова зябко поежился.—Мой отец был мужик. Он потом выбился в люди, как говорили прежде, и дал мне образование, потому что был человек не глупый. И вот я, человек с образованием, учитель, человек с искренним желанием работать для народа, мне тридцать лет, я, так сказать, в расцвете сил,—и вдруг я оказыва-

юсь совершенно, ну, совершенно ненужным для революции, и, пожалуй, для нее лучше бы, если бы меня не было. Я только страдательный ее элемент. На мою долю пришлось в революции—пить чай без сахара и жрать конину. Мной не дорожат, меня только терпят. Не платят жалованья, не дают пайка. Рассуждают, должно быть, так: Уйдет—так чорт с ним, не уйдет—так и в этом случае небольшая обуза... И революция, таким образом, прет мимо. А я только зритель и зритель праздный. Быть бы хотя врагом революции и активно бороться с ней, но я не враг. Хотя я и бывший эсер и активный эсер, но я уже давно понял свои ошибки, и моя мужицкая кровь заставляет меня с пристальным любопытством следить за их работой. И я не отрицаю, не могу отрицать всего, что они делают. Многое им удается замечательно. И поэтому мне как-то странно стоять в стороне зрителем, и вместе с тем что-то мешает пойти к ним. Я думаю иногда, что мне просто недостает толчка!..

Под стуком пальцев нервно задребезжало стекло. Все вздрогнули, взглянули на хозяина. Были в этом стуке стремительность, испуг и таинственность. В комнате вдруг стало так тихо, что слышно было поспешное тика-

нье карманных часов, висевших под картиной на стенке, и стала опять заметна безжизненно повисшая пустынная лампочка.

— Вот тебе и толчок!—изменившимся, как-бы размякшим голосом сказал тот же седой в подшитых валенках гость.

Андрей решительным и немного торжественным шагом твердо и быстро пошел в переднюю. Надя, нервно вздрагивая, напряженным взглядом уставилась на дверь.

В передней послышался стук двери и торопливый знакомый голос. А через минуту быстро вошел занесенный метелью, красный от холода полный мужчина, за которым тоже поспешно и встревоженно шел Андрей.

— Я только на минуту. Как раз по пути. И—извините—по личному делу.

— Тогда вот сюда, в эту комнату, Иван Иваныч.

Андрей провел гостя в соседнюю комнату, повернул выключатель столовой лампы и прикрыл дверь. Но дверь сейчас же приоткрылась, и показался воротник Нади:

— А мне можно?

Андрей впустил и ее.

Прижав своим плотным телом заскрипевший стул, пришедший подался вперед и зашептал:

— Я только что с заседания уисполкома. В двух словах дело в следующем. Местная чрезвычайка (сердце Андрея судорожно сжалось) получила предписание сегодня ночью арестовать всех видных эсеров. Не знаю, есть ли у них полный список членов. Вы все, кажется, успели уничтожить. От меня, как беспартийного, скрывают. Но из случайно брошенных слов на заседании и каких-то недомолвок я понял, что аресты будут сегодня ночью и приказ секретный. Я страшно торопился. Вам нужно до 11 часов исчезнуть.— Он быстро расстегнул пальто и достал бумажник.—Вот здесь у меня бланк командировки от Оно в Москву и пропуск. Заполните и отправляйтесь сейчас же. Ни минуты промедления. Момент теперь жуткий. Ждут восстания. Вчера расстреляли нотариуса Эльке за одно только хранение револьвера... Вот, кажется, и все. А теперь на всякий случай: я вам ни-че-го не говорил. Поняли?

Андрей кивнул.

— Ну-с, а теперь,—громко, уже для посторонних заговорил гость, вставая,—позвольте пожелать вам всего доброго. Тороплюсь. Не был дома с утра. До свиданья, коллеги.

— Что значит стал заведующий наробразом. С нашим братом, учителем, и словом

перекинуться не хочет,—сказал тот же седой гость.

— Некогда, Сергей Петрович, некогда!—из передней, надевая калоши, ответил Иван Иваныч.

Дверь за ним закрывала Надя. Затем побежала в ту комнату, где остался Андрей. Андрей, держась рукой за спинку стула, неподвижно стоял среди комнаты...

Этого удара он не ожидал. Правда, давно уже где-то в истоке сердца, в одной какой-то клетке организма у него посасывало, давно уже он, не сознавая того, знал, что доберутся и до него, как добираются до всех. Но, как всегда в этих случаях, случившееся казалось невозможным и невероятным. Иван Иваныч, конечно, ничего определенного не знает. При том этот человек любит эффекты. Но даже одна возможность ареста теперь, в период террора, охватывала все существо Андрея безумным желанием рваться и бежать.

— Надя, сейчас же, сию же минуту выпроводи всех и запри дверь на оба крючка!

Надя выбежала к гостям и присела к столу, улыбаясь. Улыбкой приготовляясь смягчить неудобство слов.

— Что с ним?—помог ей старый учитель.

— Видите ли, господа,—мягко улыбаясь и краснея, приготовилась лгать.—Он не может, потому что... мы поссорились. Я очень-очень извиняюсь.

— Не извиняйтесь, Надежда Викторовна,— приподнялся старый учитель,—двадцать одиннадцатого (показал он пальцем на часики под картиной), пора и честь знать.

Все взглянули на часики под картиной, где стрелка вкось рассекла циферблат, и стали застегиваться и подниматься.

Что они думали про себя, любезно вскидывая руку смущенной Нади и бросая незначащие фразы о пустяках?

Когда они ушли, когда голос балагурившего старого учителя закусила наружная дверь, и Надя, защелкнув оба крючка, побежала опять к Андрею, Андрей поспешно и нервно выбрасывал какое-то тряпье из кожаного дорожного чемоданчика.

Слух его напрягся до последней степени. Он стал в тысячу раз восприимчивее. Андрей улавливал мельчайшие шорохи и угадывал их причину.

Через минуту Андрей поднялся, в его глазах мелькнуло безумие, напряженно прислушался. Ему показалось, что на приступочке наружной двери захрустели снегом... Но все

было тихо. Только поспешно тикали часики под картиной, да таинственно сыпался снег на стекла.

Урывками договорились. Андрей поедет к брату в Тульскую губернию, а Надя будет писать.

Яростно принялись собираться. Явилась острейшая сообразительность. Андрей враз делал десять дел и ничего не забыл. Минута казалась сном или бредом. Появилась хищная ловкость. Ушами ловили малейший шорох...

И когда стрелки на часиках под картиной братски соединились в одну—без пяти одиннадцать—в шубе и шапке, в рыжем остроконечном башлыке вышел Андрей навстречу злобно метнувшейся вьюге, заполосовавшему лицо снегу, ломавшему железо рассвирепевшему ветру под крышей. Надя крикнула что-то, спохватившись, жалобное и маленькое, но ветер подхватил колыбелью ее слова, вместе со снегом взмыл их на крышу и придушил в переулочке меж забором и домом.

## II.

Андрей шел улицей быстро, не оборачиваясь. В ногах ощущал нетерпение. В шуме ветра чудилось иногда, что сзади бегут с вин-

товками наперевес и занесенные снегом кричат ему: стой!.. Под обе руки подхватывает его ветер, помогает итти, торопит его, участие в нем принимает. И где-то в наличниках окон, в дымовых трубах, в щелях заборов— скулят и ревут ветровые щенята. Вдоль улицы сплошной массой несется ветер, насыщенный снежной порошей... Но вот бурно взвыли вихри, заломалось железо, воронкой закружилась метель, стукнуло ставней—и обратно несется ветер сплошной массой мельчайшего снега. Андрей поворачивается спиной и пытается итти задом наперед.

Сейчас будет поле. Здесь ветер сильнее. Здесь вольнее гулять ему, брататься с бурей. Просторней играть с ней, носиться вдогонку, реветь и плакать в проводах телеграфных.

Трудно итти по занесенной снегом дороге. Сыпучий снег крутится у ног, взмывает под шубу и тут же, как щенок, покорно ложится у ног, чтоб сейчас же броситься вновь. Вязнет нога, и Андрей идет еле-еле.

Он думает сейчас о том, как странно перевернулась его жизнь. Полчаса назад был скучный разговор, обывательское брюзжанье, тоска обратной стороны великой эпохи. И вот уже нет всего этого. Бушует вьюга в поле, бушует она в душе. И он закружился в

вихре, как кружатся вот эти бездомные снежинки. И покой, и семейная его жизнь, и даже Надя—всего этого как будто никогда и не было.

Дорога до станции по телеграфным столбам—сбиться нельзя. Но мука итти непроворотным снегом, бушующим ветром.

По дороге сосновый бор. Сразу становится тише. Буря гуляет вверху. Сосны шумят рассыпчато, точно сыплет мужик пшено себе в житницу. Навстречу трепыхает колокольчиком лошадь, мимо посторонившегося Андрея проносятся люди. Они машут руками, быть может, кричат ему что-то, поют.

За лесом опять поле, а впереди в несущейся снежной буре—серебряное световое пятно, электричество станции, расположенной в поле.

Буря как будто усиливалась. Казалось, разваливается мир, и сейчас случится что-то необычайное, какая-то невероятная, но желательная катастрофа.

Буря успокаивала и радовала Андрея. Трудно было поверить, что кто-то в бурю будет его преследовать. И поэтому, топая ногами, чтоб отряхнуть снег, он почти самоуверенно оттянул занесенную снегом тяжелую, на блоке, дверь станции.

Но сейчас же, как только вошел, и блеснул ему свет полуваттной лампочки с потолка— сейчас же повернулся он к выходу: не столько глазами, сколько боками, спиной, той самой клеткой организма почувствовал он опасность.

Красноармеец штыком загородил ему выход.

— В чем дело, товарищ?

— Нельзя выходить.

— Но я только что вошел. Видите, весь в снегу. Мне можно отряхнуться?

— Отряхивайтесь здесь. Никого не приказано.

С неприятным ощущением безвыходности: значит, и у всех дверей то же, всем своим существом заострившись в готовности ко всему—стал отряхиваться деловито, ненужно тщательно, наружно спокойно. Затем мимо расхаживающихся красноармейцев и взволнованной публики (у некоторых воровски бегали глаза) прошел он к кассе и с независимым видом в уютно светящееся окошечко кассы пред'явил командировку и пропуск. Слушал спокойный тон своего голоса, говорил с кассиршей больше, чем следует, узнал, что поезд опаздывает, но теперь уже скоро придет, и ему казалось, что и этот тон и самый разговор его успокаивает.

Когда сторож ударил в колокол и добавил ряд слившихся звуков—«поезд вышел»,—один красноармеец, ничем от других не отличавшийся, зычно крикнул:

— Приготовьте документы!

Началась поверка. Красноармеец тщательно читал каждую бумажку, видимо, с трудом разбираясь, и смотрел на обороте, хотя на обороте было пусто. Андрей пред'явил свою командировку и пропуск. Прочитав красноармеец сказал:

— Пред'явите воинские!

Поняв, что опасности нет, Андрей поспешно полез в кошелек и, развернув с ловкостью жонглера порыжевшую бумажку, сказал;

— Пожалуйста, товарищ.

Красноармеец посмотрел на печать, пошлепал губами, посмотрел на обороте и обратился к следующему.

Чувствуя легкость и независимость, Андрей кинулся к выходу.

Из-за товарных вагонов двигался поезд, увешанный гроздьями темных фигур, с согласно такающими колесами—точно взмыленный конь, посеревший от снега. Как всегда, быстрее, чем ожидают, пронесся он мимо побежавших за ним пассажиров и так же неожи-

данно умерил ход и остановился, спуская засипевшими тормазами пары: Тсссссссссссю...

Откуда-то из метели возникли, от заборов отделились, из-под колес вылезли, побежали мешечники с сумками-поплавками за спиной. Мигом наполнили последние вершки на подножках, чайниками зазвякали, завешали собой буфера, прося и матершинясь, требуя, чтобы буржуи! черти! дьяволы! пустили в вагон, потому что мы здесь замерзаем! Мы третьи сутки сидим здесь на станции!

— Анка! Анка! Анка!

— Да не толкай ты меня—вишь, некуда!

— Товарищи, будьте сознательны. Для того мы делали революцию? Пройдите в вагоны, ведь всем же надо ехать!

— Куда же я-то пойду, когда вот эта корова не двигается с места!

## III.

Андрей пробежал до переднего вагона, затем обратно до заднего, потом снова к паровозу, подлез под поезд, подлез обратно—чувствуя с каждой минутой, что последние шансы уехать исчезли...

Ударили третий. Тогда Андрей, почти не сознавая, что он делает, бросился к первой

попавшейся подножке. Что было сил толкнул стоящих, ухватился за железные поручни и сунул свои ноги в ноги других. Стоящие заорали, заматершинились. Заорал и под свисток кондуктора тоже выругался и Андрей.

Все крики и брань с'ел продолжительный рев отправления. Застучал паровоз, и вагоны, последовательно взвизгнув цепями, отлипли.

Пока тихим ходом протаскивал поезд висячие тела мимо пакгауза, водокачки, складов, было терпимо, казалось, проедешь и тысячу верст. Но только что вынес, рассыпаясь искрами, на волю полей, как засвистели ветры, засыпало снегом, закрыло мглой, былинками прижались фигуры друг к другу.

В черных, Надей сшитых варежках висел и туже прижимался Андрей к какой-то темной безнадежно-широкой спине, чувствуя, как холодает на ветре между лопатками. Подумал перебраться на буфер, но одного только взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что занято все до последней возможности. Обернулся назад — соскочить, но соскочить было поздно—слишком быстро, прорезывая снег и метель, шел поезд.

И тут только Андрей почувствовал, какому риску подверг он себя, привиснув так опрометчиво. Ведь, он был даже не на нижней

ступеньке. На нижней уже стояли. Он просто висел в воздухе, только носками сапог упираясь в ступеньку и вытянутыми руками держась за железо.

Чемодан, висевший на руке у локтя, оттягивал руку, был тяжести необычайной (как будто в нем камни). И поэтому вытянутая рука уже немела, начинала дрожать... Ноги, которые еще по дороге до станции замучились от непроворотного снега, именно теперь дали почувствовать свою необычайную усталость: они отяжелели и ныли.

Но ведь так провисеть невозможно, как невозможно провисеть на турнике целый час,— пролет здесь огромный.

По стуку колес услышал Андрей, что промчалися мостом. Тут будка должна быть скоро. С трудом в темноте различил ее массу. Сейчас на пятой версте начнется под'ем. А там бесконечное поле и ветер.

Тогда он крикнул, глядя вверх:

— Товарищи, пройдите же немного, я падаю!

Но ветер с воем, как собака мясо, искусал слова, злобно с'ел их, утащил в круговерть метели, как будто и не было их. А темные спины не шелохнулись — тесно слиплись окаменев.

Спрыгнуть? Но спрыгнуть, ведь, явная смерть.

Ноги дрожали и ныли, руки онемевали.

И вся жизнь промелькнула в уме Андрея, как один путь в западню, в безысходность, в нелепость. Революция—вихрь, который сметает всех, ему сопротивляющихся,—к чему-то пришло на ум. И сейчас же ум ответил:

— Но я не сопротивляющийся...

Тупая инерция толкала однако бороться, отстаивать эту жизнь во что бы то ни стало.

Крепче схватившись за поручень левой рукой, на которой висел чемодан, он правым локтем начал толкать непроходимо тупую, безнадежно широкую спину. И когда спина не ответила, когда она осталась неподвижной, непроворотной,—Андрей, внезапно рассвирепев, злобно начал колотить ее кулаком по упругому драпу.

И вдруг очень близко рявкнуло:

— А я вот тебе потолкаюсь!

И спина не подвинулась, а как будто еще наглее и свободнее распласталась перед ним.

Изнемогая, снова ухватился Андрей рукой за поручень, ослабев еще более.

Сквозь бурю, стихию, светопреставление, сквозь колесом летящие снега, огнищами глаз прощупывая путь, вспыхивая топкой, с каким-

то особым стуком, точно выбиваясь из сил, двигался поезд, набитый людьми, увешанный гроздьями тел, темными вагонами пронизывая снег. Так иголка протаскивает за собой нитку.

Андрей повисал на одних руках, подгибая ноги, спускал одну из них на ветер, потом другую. Наконец, стал думать, что чемодан надо бросить. Чемодан проклятый, точно каменный, и уже сил нет его держать! Отлепив руку от поручня, Андрей безвольно опустил ее, и чемодан рванул ее вниз, скользнув по рукаву и ноге, исчез. Но рука онемела. Она не могла уже держаться за поручень.

Удивительно, как меняется психология человека в зависимости от обстоятельств! Удивительно, как быстро человек находит оправдание вынужденным своим поступкам! В голове Андрея бродили уже такие мысли:

«Ведь, в сущности к брату все равно не попасть. Ведь дальше Москвы все равно не уехать. А в Москве бесплодно ходить по учреждениям, просить фантастической командировки в Тулу... А там на московских вокзалах ждать неделями отправления в грязных тоннелях... Ах, эта смертельная усталость! Полежать бы в снегу хоть минутку!..»

И с этой дикой мыслью все тело, заглушая голос самосохранения, заныло усталостью и

истомой. Тихо передвигая руки все ниже и ниже, Андрей попытался опуститься на корточки. Ведь всякое изменение положения дает хотя бы видимость облегчения.

Слабые руки продолжали держаться. Было удивительно, что они еще держатся.

И в этом положении, на корточках, точно сон какой-то овладевал Андреем. Сон и равнодушие. В уме, под умом проносились неосознанные мысли. Проносились они быстро, и было приятно наблюдать их движение...

В дальнейшем один только яркий момент: рвануло и вывернуло ноги, и голова ударилась о что-то твердое. Боль притти не успела.

...Отлязгали цепи, в метели растаял красный фонарик кондуктора. На снегу остался темный крестообразно разбросанный предмет. Это единственное пятно быстро серело, белело. И скоро на месте остался лишь бугорок нанесенного снега.

## IV.

«Родной мой Андрюшечка!

Как ты доехал? Не заболел ли в дороге? Никакого ареста не было. Я очень боялась в ту ночь, но никто не приходил. Не приходили и потом. А вчера был Сергей Петрович и говорил, что напрасно ты этому «болтуну»

(Ив. Ив-чу) поверил. Сергей Петрович узнал точно, что твоего ареста и не предполагалось. Значит, ты можешь ехать обратно сейчас же. За эти несколько дней я ужасно о тебе соскучилась. Дом без тебя как будто опустел на три четверти. Я только теперь вижу, что наша квартирка для нас велика. Ко мне каждый день заходят наши товарищи. Днем хорошо, но вечером и ночью страшно. Вчера мне приснился отец таким, какой он был в последние дни перед смертью. Я удивилась, что он живой. А он мне сказал только два слова: «Скучный я». — И пошел от меня, наклонив голову. Я за ним не пошла, хотя мое сердце надрывалось,—а только провожала его глазами.

— Приезжай, милый, скорее. Ты видишь, какие мне стали сниться сны без тебя. Я живу только тогда, когда ты возле меня.

Я много передумала в эти дни. И знаешь ли, нашу ошибку я, кажется, нашла. Революция— вихрь, который сметает всех, ему сопротивляющихся. Есть ли в нашей жизни что-нибудь, что бы заставляло нас противостоять революции? Нет ничего. А поэтому ошибка уже в том, что мы не примкнули к ней. Она отбрасывает и даже губит не только сопротивляющихся, но и тех, кто не улавливает ее

шага, нейдет с ней в ногу, кто в революции ни холоден, ни горяч. Революция – страшный и решительный час, катастрофа. И в ней надо быть решительным.

Подумай об этом, милый, а я соглашусь со всем, что ты придумаешь. Ведь, счастье моей жизни—итти с тобой об руку. С тобой легко мне пойти на все, даже на смерть.

Твоя Надя».

Павловский посад,
Московской губ.

---

В. Секретарев.

## СОЧИНЕНИЕ.

Быстрым и очень ловким движением одной только вихрастой головы Николка поковырял тупым концом ручки сначала в правом ухе, потом в левом, потом—опять в правом и задумался. Кроме этой, необыкновенно вертящейся рыжей головы, все прочие Николкины качества — самые обыкновенные. Он, Николка, — третий. В прошлом году был вторым, в позапрошлом первым. Еще раньше, до поступления в школу, ходил в детский сад и года два числился в «семилетках». Прежде, до ГУС'а были приготовишки, первоклассники, теперь их нету. Есть «семилетки», первые, вторые, третьи... Так вот Николка и есть третий.

Николка сидит на табуретке, перед ним на столе лист, вырванный из бухгалтерской книги с графами: «цена», «сумма», «% амортизации». В руке—ручка с пером. На лице—сердитое выражение. На листе, повыше всех мудреных граф, танцующим детским почерком написано:

«Как я провел праздник Октябрьской революций».

(Слово «революции» Николка, как и все третьи, да и не только третьи,—пишет обязательно через *й*.)

Николка думает. Уж давно. Раз десять голова принималась вертеться, как лошадиное ухо, а из-под пера ничего не лезло на лист.

— Чего я ей напишу? Сказала: Напишите, как провели праздник, к завтрашнему. Сказать-то легко. Нет, ты попробуй, сама напиши. Нешто напишешь?

Вспоминается Николке, как он в этот день с утра удрал из дому. С Сенькой. Было еще рано, но народ уже начал собираться на площади. Везде флаги, на улицах нарядно и даже у мильтона (так называет Сенька милиционера) сапоги блестят, как зеркало. Толпа становится гуще, весело жужжит, и Николке становится веселее. Ему хочется крикнуть что-нибудь задорное. Да рядом стоит Сенька с серым, сердитым лицом, и Николке делается неловко. Гремя, проходит оркестр, с надутыми щеками и с начищенными, как самовар, трубами. Приятели подлаживают под ногу и вместе с людским потоком двигаются дальше. Николка искоса оглядывается на Сеньку. У Сеньки то же самое лицо, со сдвинутыми бро-

вями, но в глазах прыгают огоньки, которых не было раньше.

Впереди на шестах несут кумачевое знамя. От домов, прежде всегда нахмуренных, а теперь как будто радующихся, навстречу человеческому потоку тянутся веселые красные языки. И у Николки в груди играет такой же флаг. Николка не понимает, отчего это, но ему становится хорошо. Он оборачивается к приятелю, и кажется Николке, что он видит свое собственное лицо на тонкой Сенькиной шее...

Остановились. У окна. Над окном непонятная чудная надпись: Госпромторг, а в окне: на станке вертится круглая стальная пила, рассыпая из-под зубцов золотые огненные искры. А у станка стоит фигура мастера, и этот мастер—Ленин.

Николка застывает. Его маленькое сердце хочет выскочить.

Он понял. Это совсем не то, что ему говорили. Совсем не то, про что заставляли читать в «Игре и труде»...

Тут сразу берет за сердце.

— Во, как он управлялся,—думает Николка, не выдерживает и кричит изо всей силы:

— Ура.

Что было дальше, Николка помнит, как сквозь туман.

В голове, в груди, в ногах—звенело до самых тех пор, пока они с Сенькой не доехали на буфере трамвая до дому.

...Николка вздохнул, очнулся, повертел вихрастой головой, обмакнул перо, и из-под него на разграфленный лист полезли корявые детские буквы:

«В етот день мы пришли в школу, стали, как обыкновенно в пары и, пошли ездить на трамваи. На улице шли рабочие, крестьяне и краснойармейцы, а мы им кричали, а они нам тоже. Да здраствует Октябрьская Революций. Потом приехали, где четырнадцатому номеру конец. Потом обратно ехали. Потом вылезли. Из трамваю стали в пары, потом пошли домой. Так мы провели праздник революций. Сочинение сочинил Николай Петров».

Москва.

П. Глаголев.

## В ПУТИ.

Я иду от комплексов с собранья.
С каждым мигом ноченька темней.
После тем, подтемок и заданий
Хорошо мечтается о ней.

У меня такая планировка:
Мне понятно—я ее люблю.
Оттого совсем ее головка
Закружила голову мою.

В результате проработки полной,
Наблюдая длительно ее,—
То, что я влюбился, безусловный
Вывод сердце сделало мое.

У меня теперь одно заданье:
Проработаю подход я к ней,
Чтобы все, как в календарном плане,
Увязать и выявить ясней.

Вот как только доберусь до школы,
Перед сном, наверно, согрешу—
Длиньше, чем любой из протоколов,
Ей в стихах посланье напишу.

Всю свою я опишу ей драму.
Расскажу, что погибаю я.
Покажу, хоть даже в диаграммах,
Как растет, растет любовь моя.

Вдруг она назначит мне свиданье.
Разгорится в сердце моем кровь.
И пойдем мы с ней, как на собранье,
В ЗАГС'е зафиксировать любовь.

Заживем мы с нею дружно, смело.
И еще на первом же году,
Как живое—жизненное дело,
Заведем мы детскую среду.

г. Кашира.

А. Малафеев.

## СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ.

Я сижу один. За стенкой ветер воет
Темной лапой бьет окну в лицо...
Предо мной друзья. Я вижу: их там трое—
Тын, тропа и серое крыльцо.

Мне они давно до странности знакомы,
В их пределах вяло жизнь течет.
Их кивки, их взор и четкие изломы
Будто знал я вечно, одинокий крот.

Где-то далеко, за лысиной Сибири,
За дугой бровей, что вывел дед Урал,
В пламенной Москве (на «Красном командире»)
Развернулась бешено прекрасная игра.

Стон речей. Летящие трамваи.
Радиоугар и резкий крик афиш.
Мавзолей вождя. Все кажется летает.
Только у меня невозмутима тишь.

Одинокий вопль старухи, нервной вьюги.
Ночь арап. И я сижу один.
Смутно в тьме стоят поникнувшие други—
Серое крыльцо, тропа и тын.

ст. Хилок. Забайкальская ж. д.

Н. Бимбиреков.

## ЛЮБИТЕЛИ.

Деревушка Воротиловка взгромоздилась на горе. И кому только в голову пришла шальная мысль основаться на этом вороньем месте? Бабы зимою, когда тащат на коромыслах ведра к своим избушкам от речки, чуть не каждый раз поминают лихими словами этого основателя.

А внизу по обточенным белым камням и дальше в глухом тенистом лесу и по заливным лугам далекой лентой убегала речка Быстрянка.

И далеко-далеко от Воротиловки, насколько глаз хватало, было видно, как она, обогнув ряд деревушек, терялась где-то в тумане.

На одном краю деревни, немного от нее отделившись, стоит школа с пятью окошками. В школе живет учитель—Иван Макарыч.

На другом краю деревни, поближе к речке, живет старик-столяр Капитоныч.

Учитель и столяр—закадычные друзья. Они пользуются уважением, «потому дюже на ра-

боту востры». И одно только удивляет воротиловских мужичков: «Людей таких, прямо сказать, поискать, а вот одно чудно, уж очень рыбачить любят».

Друзья редкий день не видятся. Больше Иван Макарыч захаживает к старику. И если того почему-либо не было видно несколько дней,—книжками зачитался или по вечерам где-нибудь с мужичками беседует,—Капитоныч заметно скучал, чаще отходил от верстака и пристально смотрел через оконце. Наконец, не выдержав, старик совсем бросал работу, натягивал давно уже вылезшую и обтертую шапку (все собирается купить новую, вот только до города добраться) и отправлялся искать «ученика».

Учитель рад старику. Он откладывает книжку в сторону и организует чай. Он, как и старик, одинок, печку топит приходящая сторожиха Агафья, а самовар ставит сам. Капитоныч делает вид, что зашел случайно и наскоро: «Иду мимо школы, дай, думаю, зайду на минутку—узнаю, как Иван Макарыч живет».

— Вот, брат, спасибо. А я все к тебе собирался, да как-то времечко не выберешь.

А через полчаса обоих и не узнать: они с наслаждением и с жаром вспоминают.

— А помнишь, Кипитоныч, какую я, брат, щучку-то весной выхватил? И как она леску не отшибла, я и сейчас удивляюсь. И ведь взяла-то на мертвого живца...

— Это што. Я один раз поймал щуку—так это щука, вся деревня дивилась. Ты знаешь Кривой омут, не доходя до Лозняковской мельницы? Так вот. Аккурат дело на Николу было. Проснулся утром чем свет, глянул — пого-о-да! надо, думаю, сходить...

Забыты самовар, школа, жуткий зимний вечер с воющей мятелью. Вспоминается лето... Еле брезжит заря. От реки густой пеленой встает туман. Где-то вдалеке крякает дергач. А на воде за камышами еще видны поплавки.

Прощаются успокоенные, удовлетворенные. Работа после этого как-то не клеится, да и времени уже много. Надо ложиться спать.

Впрочем, Капитоныч, ворочаясь на печи и покряхтывая, не один раз еще раскуривает трубку. Мысли переменились—вспоминается погибший при половодье сын, старуха-покойница, другой сын, который живет в Москве и что-то забыл старика... Да мало ли что думается одинокому старику ночью под сердитые песни зимнего ветра.

А заснет—оба ловят аршинных щук и окуней, которые потом исчезают, на их место появляются другие,—вообще грезится разная рыболовная чертовщина.

* * *

Зима тянется невыносимо долго, кажется, что на веки-вечные замуровалась природа под холодным белым саваном, что не подуть больше ласковым, весенним ветрам над журчащими ручьями и проталинами, с пробивающейся зеленой травкой. И дни поразительно похожи один на другой: серые, томительные и скучные, как будто каждое утро один и тот же день начинается сначала. Изредка лишь, как бы для разнообразия, вспыхнет дня на два мятель. Поползет она сначала еле заметными змейками по ровным полям, потом подберется серой дымкой к заиндевевшим оконцам, а потом взовьется к трубе, засвистит и завоет, закружится в бешеной пляске и со стонущим хохотом понесется по усадьбам, полям и дорогам. В такую погоду на приятелей находила тоска. Виделись реже, а если и сходились, то больше молчали или ссорились.

— Ну, как, старина, жив?

— Дышу кое-как.

— Ну, братец ты мой, и погодка, прямо никакой возможности нет, даже дух захватывает.

— Да, погодка... разгулялась матушка... пропади она пропадом. До весны-то, похоже, и не доживем.

— Ну-у... теперь говори—дожили. Что ж тут осталось? Половина февраля—ну, уж и март клади, всего-на-всего полтора месяца. Пора и о снасти подумакивать.

— Да уж я кой-что присмотрел, надо бы вот крючков послать.

Помолчат.

— Штой-то давно не заходил, все, небось, с ребятишками валандаешься?

— Да, дельце одно организуем, кооператив школьный.

— Так-с, с ребятами... кооператив. Хм... Здорово... Вот што я тебе скажу, Иван Макарыч, никакого толку от вашего ученья не будет, потому баловство одно. Нешто это ученье?.. Нужно, чтобы дите перед учителем страх и уваженье чувствовал... А это што?

Капитоныч махает рукой и сплевывает.

— Я вот учился... покойник-дьячок, Семен Митрич, учил. Бывало, чуть запнешься... ка-а-к свистнет... аж в глазах темно станет. Зато уж добивался своего. На дом задаст

читать, а в школе по закрытой книжке читать заставлял. И читали. Бывало, говорит: «Жизни лишу, да зато уж человеком сделаю».

Терпенье Ивана Макарыча истощалось. Подступал к Капитонычу с дрожащим от волнения голосом...

— Да ты понимаешь, старик, что ты говоришь?

— Я-то понимаю...

— Ни черта ты не понимаешь. Ты знаешь, один какой-то великий человек сказал великое слово: «Дети—цветы жизни». Понимаешь?.. «цветы жизни...». Значит, и нужно за ними, как за цветами, ухаживать, а вы наровите с детства колом по башке гвоздить. А потом удивляетесь, отчего сын негодяй вышел.

— Да уж што и говорить. Чует моя душа, Иван Макарыч, понаставите вы, с вашими цветами, бандитов по всем дорогам.

Иван Макарыч плевал, надевал шапку и, не прощаясь, уходил домой.

* * *

Конец февраля. Морозы закручивают вовсю. Деревья не похожи на самих себя от инея. А особенно хороши они утром, когда брызнут первые лучи солнца; таинственные, седые и угрюмые, они сразу зажигаются

миллионами сказочно-красивых огней, становятся живыми и веселыми. Небо совершенно ясное и весеннее. И если бы не эти морозы да иней,—казалось бы, что пришла весна. В такую погоду приятели подолгу и мирно планируют предстоящие весну и лето.

— Непременно нынешним летом кружки заведу, — воодушевляется Капитоныч, — и жерлиц побольше.

— Обязательно, самое главное.

* * *

Наконец-то прошла зима. Прошла, как тяжелый, кошмарный сон. И впереди целая весна и лето.

Все приготовлено еще с вечера: накопана большая банка из-под консервов разных червей, удочка и жерлицы связаны и лежат под руками; в ведре уложены: хлеб, чайник, чай, сахар и кружка.

Уговорились итти часов с 12 к Попову Бучалу, версты за четыре. Иван Макарыч просыпался уже два раза. Последний раз проснулся полчаса двенадцатого. Хотел было встать, потом решил покурить в постели, да... так с папироской и заснул. Проснулся от легкого стука в окно—над головой и то окрика Капитоныча:

— Иван Макарыч, а, Иван Макарыч!

Голос в темноте и со сна казался далеким и незнакомым.

— Это ты, Капитоныч?

— Я... вставай скорей, заря вот-вот займется.

С постели казалось немного холодновато и сыро, хотя воздух был тепел и нежен, как парное молоко. Со всех сторон дышала затаившаяся жизнь.

Отцветала черемуха и зацветала сирень, отовсюду неслись соловьиные песни. Откуда-то из оврага, где не успели еще высохнуть лужи от полой воды, звенели лягушки.

Шли молча, каждый чувствовал и думал про себя; лишь только один раз, когда проходили под старой, белой от цветов черемухой, и от нечаянного толчка посыпались душистые капли росы с лепестками, Иван Макарыч не выдержал:

— Хорошо, Капитоныч.

— Хорошо, Иван Макарыч.

И опять молча дальше.

С приближением к месту ловли незаметно ускоряли шаги. Капитоныч понемногу отставал.

— Ты бы немного потише, Иван Макарыч.

— Да я и так, кажется, не особенно шибко.

Первым делом, как пришли, взялись за костер: было еще темно, поплавки от воды отличить нельзя. Живо набрали сухих сучьев, отошли несколько саженей от берега и закострили. Скрестили над костром три палки, повесили чайник с водой, а сами удочки разматывать, чтобы тогда не валандаться. Минут через пять закипел чайник... Хорошо пить пахнущий дымом чай, лежа у костра в майские ночи. Прихлебывать, глядеть через костер в темноту и думать.

Пока пили чай — светлеть начало, реже скрипел коростель, а на смену ему пока еще несмелым, сонным голосом где-то вблизи прожурчал жаворонок; дикая утка крякнула в камышах; с востока медленно шло с розовой зарей утро.

— Пора, Капитоныч.

Ловить решили у камышей. Удочки закидывали без шума и, пригнувшись к самой воде, еле различали поплавки, которые вдобавок заслонял тихо поднимающийся от воды туман. Глаза ушли в несколько точек.

— Никак клюнуло.

Иван Макарыч делает предостерегающий жест рукой.

Р-р-а-з... и в траве извивается теплый от воды, еще не опомнившийся окунишко.

— С почином.

И одна за другой, не сознавая случившегося, переселяются в ведро рыбешки. Наконец, заволновался поплавок и на большой. Капитоныч бросается к удилищу. Поплавок делает несколько кругов, идет по верху и тихо погружается в воду. Подсечка. Несколько секунд борьбы, и согнувшееся в дугу удилище тянет что-то большое и сильное. Натянувшаяся, как струна, леска ходит из стороны в сторону. Видно, как в воде мелькает золотистое тело.

— Капитоныч, тащи!

Еще несколько секунд мучительных, томительно-напряженных переживаний, и... Капитоныч далеко от берега оттаскивает пятифунтового линя.

Но большие чаще срываются. Тогда с жаром уверяют друг друга:

— Иван Макарыч... Веришь?.. В-оо...

Руки раздвигаются аршина полтора.

— И как это я?.. Не дал, должно быть, заглотить как следует.

Часам к восьми рыба перестает клевать почти совершенно: изредка побалуется какая-нибудь маленькая плотичка. Да и на удочки тоже смотреть не охота. От жары телом овла-

девает лень и истома, голова тяжелеет. Потихоньку начинают сматываться.

В заключение, на дорожку опять кипятят чай, но он кажется каким-то горьким и пахнет рыбой.

К дому еле передвигают ноги. Солнце жарит невыносимо, пот ручьями течет по всему телу. Ведро оттянуло руку. Глаза слипаются, горло пересохло. Хочется бросить все и завалиться хоть посреди дороги. И у обоих мелькает предательская мысль:

— Ну, уж теперь меня не скоро заманишь.

А через день та же история, что и вчера.

с. Васильевское,
Тульской губ.

Е. Агалакова.

## ГЛЕБ И ТУСИК.

Когда Тусик родился, Глебу было уже восемь лет. Он второй год ходил в школу и бойко писал и читал по-украински. Читать и писать по-русски он выучился еще раньше дома. Он умел править лодкой и храбро переправлялся через Десну даже с пассажирами. Один раз бабы, возвращающиеся с ярмарки, дали ему за перевоз пять бубликов и сырое яйцо. Первый заработок был необыкновенно вкусным, и даже мама, которую он угостил на радостях, прибежав домой, согласилась, что эти бублики много вкуснее тех, которые она ела прежде.

Тусика он по праву считал своим, так как его мать Мурку он получил в подарок от лесной бабушки и принес ее из лесу в корзинке с маслятами и рыжиками. Тогда Мурка была немного больше и гораздо худее теперешнего Тусика и отчаянно пищала несколько дней к ряду, раздражая всех в доме. А теперь она взрослая и сытая кошка и уже имеет сына.

Тус весь черный и мягкий, как пушинка, с белыми лапками и белым пятнышком на хвосте. Он толстяк и любит спать, но когда проснется, то не сидит ни секунды на месте. Он привык к людям и постоянно цепляется то к одному, то к другому, заигрывает, ластится, но спит по ночам только с Глебом, и за это ему прощается дневная измена. Он любит сидеть у Глеба на плече, когда тот возится на своем огороде или строит мельницу, и с таким интересом смотрит своими черными бусинками глаз, что Глебу становится весело.

Кошка-мать уже взялась за его воспитание и подолгу учит его лазить по деревьям и ловить мышей. Глеб помогает ей в этом. Он сажает Тусика на высокий гладкий забор или на перекладину турника и заставляет слезть на землю. Тус пищит, делает испуганные глазенки и, наконец, решившись, летит кубарем вниз, в Глебову шапку. На этом обычно урок и кончается. Тусик засыпает на солнышке, а Глеб уходит ловить рыбу.

Один случай еще более сблизил Глеба и Тусика.

Был жаркий летний день, парило, и люди, утомленные работой, улеглись рано спать. Глебка уснул над тарелкой картошки за ужи-

ном, и мать долго ворчала, раздевая его и вытирая мокрой тряпкой грязные, исцарапанные и искусанные комарами ноги. Глёб не слыхал. Про Туса все забыли. Он же спал блаженно на дворе у забора, между пахучих сосновых бревен, плотно поужинав парным молоком. И когда пришла ночь и налетевший откуда-то ветер зашумел тополевыми ветками и стал ломать сучья у дряхлых раскидистых верб,—первые капли дождя разбудили Тусика. Он встал и, испуганный шумом и грохотом, завертелся волчком между бревен. Но когда на его голову полились целые потоки воды с грозного неба, Тусик бросился через мокрый двор к темной двери. Там он царапался и плакал, захлебываясь от водяных струй, бежавших с крыши, и смытый их потоком с крыльца, снова очутился во дворе. Он беспомощно озирался, прищурив глазенки и высоко поднимая мокрые лапки, скользнул под забор. Там под широкими листьями грецкого ореха дождевые струи били не так больно, и он снова начал кричать, подняв голову к окнам. Что было дальше, он не помнил. Над головой что-то грохнуло, ослепило глаза, и Тусик очнулся лишь, когда чья-то теплая рука взяла его за шиворот.

Глеб проснулся от удара грома. В комнате было темно и страшно. За окном глухо шумели деревья и дождь, и огневые крылья хлестали небо. Глеб уже хотел захныкать и бежать к маме, как вдруг, сквозь шум дождя и ветра, услыхал жалобный знакомый голос. Он не поверил, повозил рукой по кровати, покричал: «Тус, Тус», и снова прислушался. Сомненья не было. Там, за окном, один среди ночи, дождя и ветра, погибал маленький Тусик. А все спят, и никто не захочет итти за ним. Маму ни за что не упросишь, отец уехал в город. Разве Ленька? И Глеб, натыкаясь в темноте, побрел к кровати брата.—«Лень, а, Лень! Ленька!» Но тот повернулся, сказал скороговоркой что-то невнятное и опять засопел носом. Разве добудишься, а надо скорее. Тусик пищал все тише и жалобнее. Глеб решился и, широко расставляя ручонки, вздрагивая при каждой вспышке молнии, побрел на кухню. Там он долго возился с запором, и, открыв дверь, отшатнулся назад, оглушенный шумом, забрызганный дождем. Он прокричал в темноту и хаос: «Тусик, Тусик». Тусик едва отозвался, но не шел на зов. Что же делать? Глебка захныкал и вдруг вспомнил про Ганну. Она спит здесь близко, в комнатке рядом с кухней. Он пошел к ней,

цепляя за кочерги и ухваты. Нащупав ее ноги, стал тянуть жалобным голосом: «Ганночка, Ганзя! Проснись...» Она спросонья сразу не поняла, чего от нее нужно, немного поворчала, как будто не поверила, а потом, проснувшись хорошенько, чиркнула спичкой, всунула ноги в большие чоботы и, накинув платок, вышла. Глебка дрожал, сидя на краешке ее кровати. «Вдруг Тусик уже погиб и лежит мокрый и холодный, кверху лапками». Но вот дверь хлопнула, и Ганна ворчливым, но довольным голосом сказала: «На, бери что ли. Мокрый весь Тус твой, да так ему и надо, пусть по ночам не шляется. Посветить тебе что ли?»

Но Глеб отказался от света. Он завернул в подол коротенькой рубашенки мокрого и холодного Туса и, взяв кончик ее в зубы, пошел в темноту к себе. У двери он обернулся и, слыша, как Ганна сбрасывает с ног мокрые чоботы, сказал ей весело:

— Ну, вот и спасибо тебе. А я завтра за это лозы тебе наломаю и помогу козлят загонять.

— Ладно уж. Иди спать скорее; простудишься,—сказала она, и кровать заскрипела под ее телом.

А Тус щекотал холодными лапками сквозь промокшую рубашенку Глебкины ноги, и кровать была близко.

На утро Глеб чувствовал себя героем и еще больше полюбил Туса.

Уже в августе выросший Тусик поймал первую птичку. Она расцарапала ему нос, ударила крылышком в глаз, но, помня уроки матери, он перекусил ей горло и опьяненный победой побрел домой. Он злобно урчал, останавливаясь отдыхать у калитки, и крепко держал ее лапками. Придя в дом, он поискал мать, но она все чаще отлучалась куда-то, и Тусик ее не нашел. Из людей тоже никого не было. Только в кухне гремела ухватами Ганна. Он пошел к ней и, ожидая похвал и радости, положил на пол птичку. Но вышло совсем не то. Увидав птичку, Ганна страшно рассердилась, закричала, ударила Тусика мокрой тряпкой и, швырнув его в комнаты, хлопнула дверью.

— У, звереныш. Чи я тоби исти не даю, погана шварюка. Шо зробив з бидною птахою. Чертеня.

Тус ударился о сундук и, оскорбленный, испуганный и недоумевающий, забился под кровать.

В чем же дело? Ведь мать учила его ловить птичек, значит так надо, так хорошо. За что же рассердилась Ганна? Он не понимал...

У Глеба тоже не ладилось. Целое утро он копал метелицу и червей, приготовил уроки, и, усевшись на носу привязанной в ровчаке лодки, принялся удить. Клевало хорошо, и он уж мысленно делил будущий улов.—«Маленьких Тусу, Мурке одну можно, а остальные зажарю и с'ем. Вот маме разве дать». Но мечты оказались напрасны. В тот самый момент, когда, должно быть, большая рыбина повела поплавок, на берег влетела его старшая сестра с Женькой — подругой и веслами на плече.

— Глебка, выметайся скорей из лодки, нам надо в Вишенский кооператив поехать.

Рыба, конечно, испугалась и ушла, и сколько Глеб ни доказывал, что он не может уйти, оттого что хорошо клюет, а ловить с берега мелко, она не послушалась и, вскочив в лодку, выбросила на берег коробки с червяками и чуть не попутала лески. Метелица вся просыпалась, и черви стали расползаться. Глебка заплакал от злобы и досады и стал ругаться, но девчонки уже плыли на лодке вверх. Лов был испорчен. Кое-как подобрав червей, он ревел сердито и громко на весь берег и, размазывая грязными ручонками слезы, поплелся домой. Он ревел всю дорогу протяжно и жалобно и, стукнув в запертую балконную дверь,

поленился итти кругом и полез в окно. Удочки цеплялись за листья лилий на окошке, и он бросил их в столовую и сам неловко шмякнулся за ними, свалив стул и ушибив коленку. Он заревел громче, желая, чтобы услыхала мама, но в комнатах было тихо и пусто, все разошлись куда-то, и только на кухне Ганна во весь голос пела песни. Плачь, не плачь, все равно не услышат, а так зря не стоит, уж ему и надоело плакать. Он подошел к зеркалу, глянул на свою грязную рожицу и скривил рот. Взял высокую плаксивую ноту, но тотчас же оборвал ее. Хотелось есть, он пошарил в шкафу и, найдя кусок хлеба и яблоко, засунул их в рот и пошел в спальню. Там знакомая до мелочей обстановка снова навела его на грустные мысли, и, усевшись на кровать, он начал всхлипывать, оглядываясь кругом. Из-под Ленькиной кровати зелеными огоньками глядели ему в лицо испуганные Тусиковы глаза. «Тус, Тус»— позвал Глеб. Тус выбрался из засады и прыгнул к нему. Глебка обнял его ручонкой и, шевеля пальцем между ушками, стал жаловаться. Тус слушал внимательно, и, обласканный и успокоенный, сам стал тихо мурлыкать.

— Один ты у меня, Тус, хороший. Никто нас с тобою не любит, — причитал Глебка. —

И будешь ты без рыбы сегодня. Потому что с берега ловить мелко, а Нинка взяла лодку. Чтоб ей с ее крокодилихой Женькой перевернуться под Вишенками. Ты хочешь, Тусик, чтоб они перевернулись?

Но уже злобы не было. После слез тянуло ко сну, и приятная истома разливалась по всему телу. Глеб свернулся клубочком и, прижимая к себе Туську, сладко зевнул, засыпая и посапывая. Тусик тоже засыпал. Через десять минут они оба мирно похрапывали рядом, и все их печали ушли далеко.

Через час, проснувшись, они уж и не вспомнят о них, и Глебка будет плясать под балалайку сестры, а Туська ластиться к Ганне.

Тихо в комнате тикает будильник на комоде, а в открытое окно льется звонкий голос Ваньки Курашова, Глебова приятеля, поющий новую песню, которую Ванька перенял у пионеров из города, да немножко не понял:

Красный барабанщик, красный
барабанщик.
Долго спал, долго спал.
Он проснулся, перевернулся,
Всех вошистых (фашистов) разогнал.

А Глеб во сне улыбается.

Короп,
Черниговской губ.

# СОДЕРЖАНИЕ.


| | *Стр.* |
|---|---|
| Александр Яковлев. Предисловие | 3 |
| П. Глаголев. Солнечный свет | 5 |
| П. Сапухин. Из дневника Стих. | 14 |
| С. Фомин. Петька из Содомовского тупика | 15 |
| А. Дементьев. Сенька | 27 |
| П. Соколов. Недавно | 50 |
| Л. Гуринова. Московское. Стих. | 63 |
| И. Пронин. Тыква | 65 |
| В. Лезин. Карабаш. (Уральские наброски.) Стих. | 69 |
| Д. Малышев. В тот год | 80 |
| В. Секретарев. Сочинение | 100 |
| П. Глаголев. В пути. Стих. | 104 |
| А. Малафеев. Сельский учитель. Стих | 106 |
| Н. Бимбирекоv. Любители | 107 |
| Е. Агалакова. Глеб и Тусик | 118 |

Цена 60 к.

Р

3284/1188

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
*0000755253*